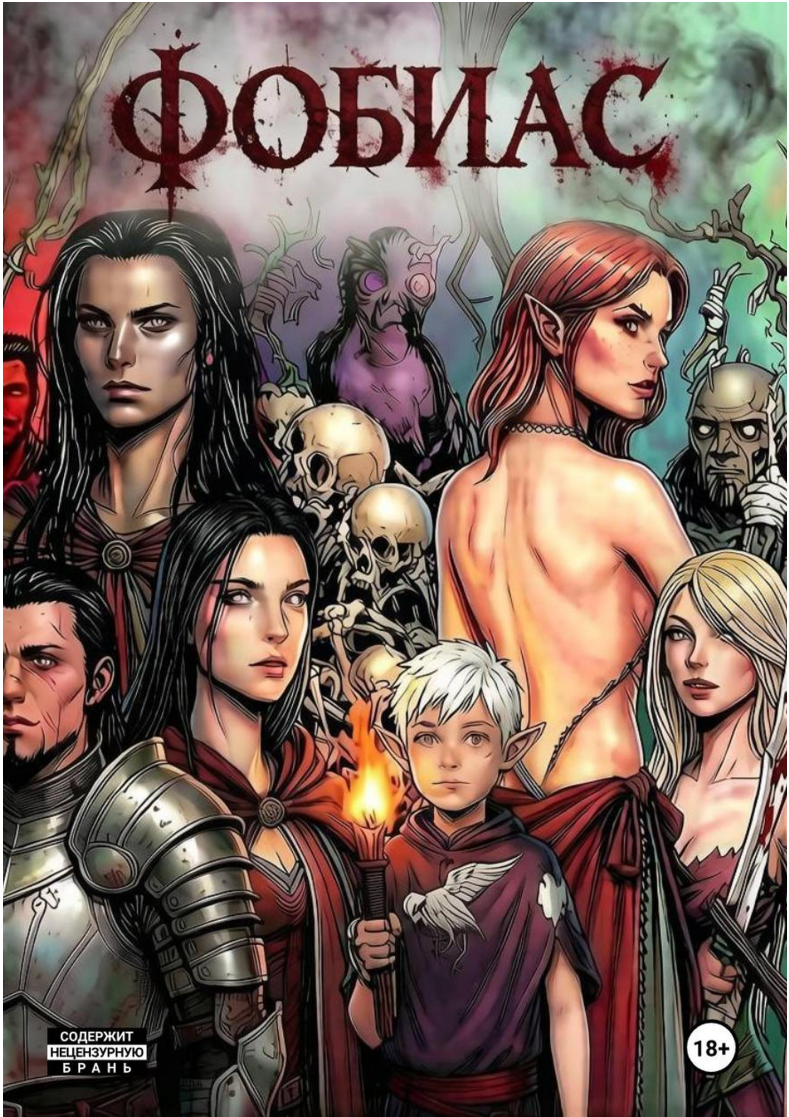

ФОБИАС
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Вадим Бабенышев

ФОБИАС. Кровь двенадцатой колыбели

https://litres.ru/74722189
SelfPub; 2026

Аннотация

Алексей Дементьев, экономист, так и не научившийся считать собственные долги, умирает на полу московской квартиры и открывает глаза в теле полуэльфа. Это подвал замка Грайворн, где граф Карион триста пятьдесят лет покупает молодость кровью эльфийских младенцев.

Его вторая жизнь стоила кому-то первой. Его магия — кредит, который платят собственной плотью, и он единственный в этом мире, кто ведёт ей счёт.

Его отец — чудовище с благородной целью: зашить расползающийся мир ценой восьмисот невинных жизней. Чтобы остановить его, мальчику придётся найти то, чего за тысячу лет не нашёл никто, — способ заплатить меньше.

Жестокий мир для поклонников «Берсерка» и «Песни льда и огня»: интриги, переворот, война и цена, которую платит каждый.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 5
Пролог. Двенадцатая колыбель 6
Часть первая. Грайворн 17
Глава 1. Метель 17
Глава 2. Сын эликсиров 34
Глава 3. Граф 60
Глава 4. Сталь 96
Глава 5. Корвель 119
Глава 3 148
Конец ознакомительного фрагмента. 149

Вадим Бабенышев
ФОБИАС. Кровь двенадцатой колыбели

Глава 1

Глава 2

Фобиас

Книга первая. Кровь двенадцатой колыбели

Тёмное фэнтези · попаданец · 18+

Он умер должником на полу московской квартиры — и родился в двенадцатой колыбели замка, где граф триста пятьдесят лет покупает молодость кровью эльфийских младенцев.

Пролог. Двенадцатая колыбель

Мальдориан не любил ночь Кровавой луны.

Кровь тут была ни при чём. Кровь была его ремеслом, как глина у горшечника, и он давно перестал слышать её запах — так мельник перестаёт замечать муку на собственных ресницах. Он не любил пения. Шестеро послушников в серых рясах тянули гимн, который был старше замка, старше Корвеля, а может, старше и самих людей в этих землях. Под низкими сводами он звучал так, будто камень вспоминал, что когда-то был живым, и не хотел умирать во второй раз.

Колдун стоял у насоса из драконьей кости и считал.

Двенадцать колыбелей полукругом за алтарём. Двенадцать серебряных нитей, тонких, как конский волос, от каждой колыбели к насосу, а от насоса одной толстой жилой — к алтарю. Двенадцать клапанов из рыбьего зуба. Сорок восемь игл, по четыре на нить: одна игла может засориться, две — уже нет, но Мальдориан не доверял слову «нет» и ставил четыре. Он был четвёртым колдуном на этой службе. Трое до него доверяли. От двоих остались записи. От третьего — бурое пятно на потолке лаборатории, которое не брали ни известь, ни щёлок, ни молитвы, которые в первый год читал над ним замковый жрец, пока граф не велел жрецу убираться вон.

— Ты медлишь, — сказал граф, не поворачивая головы.

— Я считаю, милорд.

— Ты считаешь двадцать шесть лет. Пора бы выучить наизусть.

— Наизусть знают молитвы, милорд. Молитвы не взрываются, когда ошибёшься в слове.

Граф Карион лежал на обсидиановом алтаре нагим. В свете жаровен его тело казалось отлитым из бледной бронзы: широкая грудь, плоский живот, длинные мышцы бёдер, руки, не знавшие ни плуга, ни весла, зато знавшие меч лучше, чем любой рыцарь его гарнизона. Тело двадцатилетнего. Чёрные волосы разметались по камню, как пролитые чернила. А глаза — серые, светлые, почти прозрачные — смотрели в потолок, и молодыми они не были. Мальдориан служил графу двадцать шесть лет и ни разу не выдержал этого взгляда дольше, чем требовала вежливость. Так смотрит человек, который видел, как закладывали первый камень замка, в котором он сейчас лежит, и помнит, сколько каменщиков упало с лесов.

— Двенадцать нитей, — сказал Мальдориан, проводя пальцем по серебру. Он искал пузырь, крохотный, как блоха; пузырь в трубке мог стоить больше, чем вся эта ночь. — Если одна лопнет, эликсир свернётся в ваших жилах, как молоко на солнцепёке.

— Ты говоришь это каждый год.

— И каждый год это правда.

— Правда, которую повторяют каждый год, становится

колыбельной. — Карион шевельнул пальцами на обсидиане. — Ты хочешь меня усыпить, колдун?

— Я хочу, чтобы вы проснулись, милорд.

Граф издал короткий сухой звук — дальнего родственника смеха, выросшего в бедности. Потом сказал:

— Тогда считай быстрее. Мне холодно.

Холодно. Мальдориан едва не улыбнулся. Триста пятьдесят лет — и ему всё ещё бывает холодно. Пожалуй, это было единственное, что роднило графа с людьми, которыми он правил: с пахарями, что зимуют в одной избе со свиньями, с прачками у реки, с солдатами на стене. Холод брал всех. Холод был честнее богов.

Колыбели вырезали из ясеня и выстлали овечьей шерстью. На шерсти настоял он сам: пятнадцать лет назад он доказал, что на льне дети остывают быстрее и нить отдаёт меньше. Граф выслушал доклад, кивнул и велел заменить лён. Никто в замке не нашёл в этом ничего странного. В Грайворне вообще мало что находили странным. Здесь вешали за кражу хлеба и прощали за убийство, если убитый был эльфом; здесь поварята учились свежевать раньше, чем читать, а псарь хвастал, что его гончие берут след босой ноги на камне. Шерсть вместо льна была не самой удивительной вещью под этой крышей.

Младенцы молчали. Сонный отвар — мак, валериана, капля болотного мёда — делал своё дело. Двенадцать маленьких тел, двенадцать лиц, на которые Мальдориан дав-

но приучил себя не смотреть. Лица для расчёта не нужны. Лица — то, что потом снится. Матерей он знал: эльфийки из восточного крыла, те, что рожали этой осенью под надзором повитух. Матерям говорили разное. Одним — что детей отдали кормилицам в деревни. Другим — что дети умерли. Третьим не говорили ничего: третьи уже не спрашивали.

В двенадцатой колыбели, с краю, лежал сын Эйлин.

Мальдориан не хотел о нём думать — и потому думал. Мальчик родился три дня назад, крупный, с чёрным пушком на темени и ушами, едва заострёнными: человеческая кровь в нём перевесила эльфийскую, это видела даже повитуха. Эйлин кричала, когда его уносили. Кричала так, что у повитухи потом два дня тряслись руки и она не могла удержать ложку с похлёбкой. Ей сказали, что ребёнок родился мёртвым. Она не поверила. Потом поверила. Потом заперлась в своих покоях, и граф три ночи кряду стоял у её двери и не стучал.

Мальдориан знал, как ребёнок оказался здесь. Граф пришёл в лабораторию сам, за полночь, без свиты и без огня, сел на табурет, на котором обычно сидели те, кому пускали кровь, и долго молчал.

— Сына рыжей, — сказал он наконец. — В двенадцатую.

Мальдориан отложил перо.

— Вы уверены, милорд?

Это был единственный раз за двадцать шесть лет, когда он задал графу такой вопрос. Карион поднял на него свои

старые глаза.

— Знаешь, что говорил мне Аурен, когда я был мальчишкой и плакал над дохлой собакой? Он говорил: «Тот, кто держит дверь, не имеет права любить никого по эту сторону. Любовь — это рука, которая тянется к засову». — Граф помолчал. — Она — инструмент, колдун. И её сын — инструмент. Я хочу, чтобы это было правдой.

— А если это неправда?

— Тогда к утру станет правдой. — Карион встал. — Так или иначе.

И ушёл, не закрыв за собой дверь, как уходят люди, которые знают, что за ними закроют.

Мальдориан понимал его. Он был учёным, а учёный обязан понимать даже то, что ему отвратительно, — особенно то, что ему отвратительно. Граф полюбил пленницу. Граф испугался этого, как пугаются первого пятна проказы на запястье. И граф решил вылечиться самым надёжным способом, какой знал: заплатить за молодость тем, что любит. Сможет — значит, не любит. Логика безумца. Но очень чистая. Мальдориан иногда завидовал такой чистоте.

— Начинайте, — сказал он послушникам.

Гимн сменился. Стал ниже и гуще; в нём проступила вторая линия, словно под полом запел ещё один хор, — хор, которому не нужно было дышать. Насос вздохнул. Клапаны щёлкнули двенадцать раз, двенадцать ударов маленьких сердец, и по нитям пошла кровь — тёмная, почти чёрная от эс-

сенции, которую Мальдориан весь последний месяц варил из костного мозга тварей, пойманных у Шва. Одна из тварей, прежде чем издохнуть, отгрызла руку послушнику по имени Пелл. Пелл сейчас пел в третьем ряду, держа книгу культёй, и пел хорошо.

Граф выгнулся на камне — от облегчения, сладкого, почти постыдного. Мальдориан видел его лицо: так человек, долго шедший по морозу, опускает руки в тёплую воду. Морщинка у рта, которую неделю назад Карион раздражённо тёр перед зеркалом, разглаживалась на глазах, как складка на шёлке под утюгом. Седой волос на виске — один, колдун заметил его ещё вчера — темнел от корня к кончику. Дыхание графа стало глубже, ровнее. Моложе.

— Говори со мной, — сказал Карион, не открывая глаз. Голос его плыл. — В эти минуты мне всегда кажется, что я тону.

— О чём, милорд?

— О чём угодно. О твоих тварях. О погоде. О том, сколько ты мне лжёшь.

— Твари в этом году мельче, — сказал Мальдориан, не отрывая взгляда от трубок. — У Шва стало тише. Это и хорошо, и плохо. Хорошо — потому что реже лезут. Плохо — потому что мне не из чего варить.

— А погода?

— Метель с Хребта. Через три дня будет здесь.

— А ложь?

Колдун перевёл взгляд на водяные часы.

— Ровно столько, сколько нужно, чтобы вы мне платили, милорд.

Граф рассмеялся. Смех вышел молодым, звонким, юношеским, и от этого — страшным: под этими сводами давно никто так не смеялся.

Колыбели остывали. Мальдориан не смотрел на них. Он смотрел на стрелку часов и на цвет крови в главной трубке. И считал.

Тогда-то он и заметил, что пламя в лампах наклонилось.

Сквозняков в подземелье не было. Последнюю отдушину Мальдориан замуровал собственными руками двадцать лет назад, когда понял, что ток воздуха меняет вкус эликсира. Но огоньки — в лампах, в жаровнях, на свечах у ног послушников — клонились в одну сторону, как трава под ветром. К двенадцатой колыбели.

Ребёнок в ней перестал дышать.

Мальдориан видел, как крошечная грудь замерла на вдохе. Как личико посерело и стало восковым. Так бывало. Не каждая нить держала до конца, особенно у крупных детей с сильной человеческой кровью. Он отметил это почти с облегчением: значит, сын рыжей уйдёт первым и быстро. Значит, граф получит свою цену и, может быть, перестанет стоять у чужих дверей.

А потом ребёнок открыл глаза.

Новорождённые так не смотрят. Их взгляд плавает, как

масло в воде, ни за что не цепляясь, потому что цепляться им пока не за что. Этот взгляд остановился на Мальдориане и *понял* его — понял, что перед ним человек. Что это подвал. Что вокруг поют, что горят лампы, что в его тело вогнаны иглы. В голубых глазах — голубых, хотя мгновение назад, Мальдориан поклялся бы, они были мутно-серыми, как у всех младенцев, — стоял ужас. Взрослый, осмысленный, бездонный ужас человека, который очнулся в гробу и слышит, как на крышку сыплется земля.

Мальдориан стоял у насоса молча и неподвижно. Послушники пели дальше. О богах, в которых он перестал верить сорок лет назад, в тот день, когда вскрыл первую тварь и нашёл внутри только мясо, он даже не вспомнил. Он подумал: *в мире есть вещь, которой нет ни в одной книге. И она лежит в моей колыбели.*

И сразу вслед — холоднее и яснее: *если граф узнает, она станет его вещью. Как всё в этом замке. Как я.*

Пальцы сами нашли клапан двенадцатой нити и пережали его.

Щелчок рыбьего зуба утонул в гимне. Кровь в двенадцатой трубке остановилась, дрогнула и отступила на палец назад, к колыбели. Ребёнок вздохнул — судорожно, с хрипом, как вздыхают утопленники, которых вытащили на берег за волосы.

— Что там? — Голос графа был ленивым, сытым, голосом человека, засыпающего в горячей купальне.

— Мертворождённый, милорд. — Ни голос, ни рука колдуна не дрогнули. — Нить пустая с самого начала. Я уберу его, чтобы не мутил поток.

Мальдориан ждал, затаив дыхание. Послушники пели. Пелл в третьем ряду перевернул страницу культёй.

— Это… — Граф не договорил. Пальцы его на обсидиане сжались — один раз — и разжались. — Чей?

Мальдориан понял: граф знает. Граф спрашивает не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы услышать, как это произнесут вслух, и проверить, выдержит ли.

— Двенадцатая колыбель, милорд.

Долгое молчание. Жаровни потрескивали.

— Убери, — сказал Карион.

Больше он ничего не сказал.

Колдун вынул иглы — четыре, из крошечных вен на запястьях и щиколотках, — прижал ранки большим пальцем и завернул ребёнка в полу своего плаща. Тот оказался лёгким, легче, чем следовало. Мальдориан вынес его из зала под пение, которое не прервалось ни на миг.

В коридоре, у поворота к лаборатории, он остановился и откинул ткань.

Младенец смотрел на него, не мигая. Крошечные пальцы сжимались и разжимались, будто искали что-то, чего здесь не было. Губы шевелились — так шевелит губами человек, который пытается заговорить и забыл, как устроен рот.

— Кто ты? — прошептал Мальдориан.

Младенец молчал. Только в голубых глазах что-то дрогнуло, и потекли слёзы — тихо, без всхлипа. Так плачут взрослые мужчины, когда думают, что их никто не видит.

Колдун смотрел на эти слёзы долго. Потом снова прикрыл лицо ребёнка плащом.

— Неважно, — сказал он себе. — Важно, что ты *есть*. А кем ты будешь — решу я.

* * *

Из зала он слышал, как стихает гимн и как послушники, шаркая, выносят колыбели. Одиннадцать — на восточный погост, где земля мягкая и где хоронят слуг и щенков. Двенадцатая была пуста. Послушник Пелл, проходя мимо двери лаборатории, на миг задержался и посмотрел на Мальдориана, на свёрток у него на руках, на ширму в углу.

— Мертворождённый, — сказал Мальдориан, не дожидаясь вопроса. — Я вскрою. Для записей.

Пелл кивнул культёй, как кивают рукой, и пошёл дальше. Через два года его найдут в колодце нижнего двора, и никто не спросит, как он туда попал. В Грайворне вообще редко спрашивали.

* * *

В эту ночь граф Карион помолодел на год, как и всегда. Утром он вышел к завтраку свежим, весёлым и злым, велел высечь конюха за плохо вычищенного жеребца, съел полдюжины перепелиных яиц, выпил кубок тёмного изельмаркского и не пошёл к дверям Эйлин. Больше он никогда не при-

ходил к ним ночью. Только днём, при свете, как приходят по делу.

Но к следующей Кровавой луне граф недосчитался месяца. Ещё через год — двух. Нить, которую он не заметил, тянулась теперь не к нему.

А где-то очень далеко — в мире, о котором Мальдориан не знал ничего, в мире без магии и без графов, в тесной холодной квартире на окраине огромного города, где за окном выла метель, — в ту самую минуту остановилось чужое сердце.

Фобиас этого не заметил. Фобиас вообще редко замечает, когда кто-то умирает.

Но швы мира — тонкие, старые, плохо зашитые — в ту ночь дрогнули. Чуть-чуть. Так, что заметить это мог бы лишь тот, кто знает, куда смотреть.

Никто не знал.

Часть первая. Грайворн

Глава 1. Метель

В тридцать шесть лет у Алексея Дементьева было три вещи.

Красный диплом экономического факультета, лежавший в шкафу под коробками из-под пиццы. Долг в два миллиона двести тысяч рублей, который ходил за ним по пятам, как бездомная собака за человеком, однажды бросившим ей корку. И архимаг девятнадцатого уровня по имени Тень-Вечности, которого уважали восемьсот человек гильдии и боялись ещё две тысячи на серверах «Эльдарии».

Первое он заслужил. Второе — тоже. Третье было единственным, ради чего он вставал с кровати.

Январь в Южном Бутове походил на наказание за то, что ты вообще родился. Метель шла третьи сутки. Ветер находил щели в старой раме и посвистывал в них тонко, с издёвкой, будто кто-то снаружи пробовал губами горлышко пустой бутылки. На подоконнике, с этой стороны стекла, прямо в комнате, лежал снег — тонкая белая полоса, которая так и не таяла: батарея грела ровно настолько, чтобы не перемёрзли трубы, и ни на градус больше. Управляющая компания была в этом смысле образцом честности.

Алексей проснулся в десять от звонка. Голова гудела. Ночь ушла на рейд: Подземелье Теней, третий босс, сорок человек на голосовой связи. В четыре утра, когда босс наконец рухнул и с него выпал посох, о котором мечтали полгода, кто-то написал в чат: «Тень, ты бог». Алексей перечитал эти три слова четыре раза. Потом выключил компьютер, лёг и долго смотрел в потолок. В трещине над люстрой шевелил усами таракан — единственное существо в квартире, которое здесь, похоже, было счастливо.

— Да? — сказал он в трубку. Голос со сна звучал как чужой.

— Алексей, доброе утро. Сергей Викторович.

Он сел. Сердце стукнуло один раз, тяжело, как кулак в дверь.

— Доброе утро, Сергей Викторович.

— Разбудил?

— Нет. Что вы. Работаю.

— Это хорошо. — В трубке звякнула ложечка о фарфор. Сергей Викторович пил кофе из чашки с блюдцем; Алексей почему-то был в этом уверен. — Как там прогноз по целевым показателям? Мне он нужен к обеду. Совет директоров в три, и я бы хотел хотя бы раз в жизни не импровизировать.

Сергей Викторович никогда не повышал голоса. Он был из тех начальников, что говорят с тобой как с равным, и от этого делается только хуже: ты точно знаешь, что вы не равны, и он знает, что ты знаешь, и оба вы делаете вид, будто это

неважно. Алексей видел его вживую однажды, на новогоднем корпоративе два года назад: подтянутый, в костюме ценой в три зарплаты Алексея, с бокалом в руке, в кругу девушек из отдела продаж, которые смеялись каждой его шутке. Даже несмешной. Особенно несмешной. Алексей простоял тогда весь вечер у столика с канапе, съел, по собственному подсчёту, сорок одну тарталетку и ушёл первым. Никто не заметил.

— Почти готов, — сказал он, глядя на ноутбук, где неделю висел открытый пустой файл. — Час-полтора. Пришлю на почту.

— Почти — это сколько процентов?

— Восемьдесят.

— Алексей. — Пауза, мягкая, как кошачья лапа. — Я двадцать лет в финансах. Когда человек говорит «восемьдесят», это значит «двадцать». Когда говорит «почти», это значит «не начинал». Я прав?

Алексей молчал. На том конце снова звякнула ложечка.

— Знаете, почему я вас держу? — продолжил Сергей Викторович всё тем же ровным голосом. — Не из жалости, не обольщайтесь. Вы единственный в отделе, кто умеет думать, а не перекладывать цифры из таблицы в таблицу. Я это ценю. Но ум, который не приносит результата, — это как машина в гараже. Красивая, дорогая, а налог платить надо. К часу дня, Алексей. Не подведите.

Гудки.

Алексей посидел с телефоном в руке. Он мог бы сделать этот прогноз за сорок минут, и это был бы лучший прогноз в компании. Умения ему хватало. Беда была в том, что ему было всё равно. Уже давно — года три, а может, и пять, с тех пор как…

Он не стал додумывать. Он открыл приложение доставки.

Двойной бургер с двойным сыром. Десять наггетсов. Большая картошка. Литр кофе с карамельным сиропом. Семьсот рублей. Копейки рядом с двумя миллионами — он всегда так думал, когда заказывал. И копейки каждый раз складывались: в жестянки из-под колы под кроватью, в картонные коробки на полу, в сорок лишних килограммов на животе, который нависал над резинкой застиранных трусов, как тесто, сбежавшее из кастрюли.

Пока ждал еду, запустил игру.

Компьютер загудел, вентиляторы взвыли, экран ожил. Тень-Вечности стоял у портала, в чёрной мантии с серебряной вышивкой, с новым посохом, от которого струился лиловый свет. Алексей смотрел на него и чувствовал то, чего не чувствовал больше нигде, — покой. Здесь всё было понятно. Здесь были правила. Вкладываешь время — получаешь уровень. Вкладываешь уровень — получаешь силу. Сила даёт уважение. Уважение даёт… Дальше он никогда не додумывал. Наверное, ещё один вечер, который не так страшно прожить.

В гильдейском чате висело сообщение от Кирилла, их тан-

ка, тихого инженера из Екатеринбурга, с которым они за шесть лет ни разу не виделись и ни разу не поругались.

«Тень, ты живой? Вчера после рейда пропал. Слушай, такое дело. Жена сказала, или игра, или она. Я ухожу из гильдии. Ты это… береги себя. Серьёзно. Ты в последнее время в голосе какой-то не такой».

Алексей перечитал. Набрал: «Удачи, бро». Стёр. Набрал: «Жена права». Стёр. Набрал: «Ок» — и отправил. Потом минуту смотрел на это «Ок», как смотрят на захлопнувшуюся дверь.

В детстве у него был плюшевый медведь. Колючий, с одним глазом-пуговицей. Мать садилась на край кровати в их доме в посёлке под Наро-Фоминском, брала его руку в свои — шершавые от стирки, пахнущие хозяйственным мылом и антоновкой — и рассказывала одну и ту же сказку.

— Жил-был мальчик, который побеждал драконов смелостью.

— Мам, а меч у него был?

— Был. Деревянный.

— Деревянным дракона не убьёшь.

— А он не мечом убивал, Лёшенька. Он убивал тем, что не убегал. Драконы этого очень не любят. Они привыкли, что все бегут.

Отец приходил с работы, хлопнув дверью, с запахом машинного масла и снега на куртке, садился за стол, ел борщ и учил его считать сдачу.

— Дал продавщице сотню, взял хлеба на двадцать три и молока на сорок один. Сколько должна вернуть?

— Тридцать шесть.

— А если вернула тридцать?

— Значит, ошиблась.

— Значит, обманула, — поправлял отец, дуя на ложку. — Ошибаются в свою пользу, Лёшка, только честные люди, а их мало. Деньги любят счёт. Кто не считает — того считают.

Пять лет назад их «Ниву» смял на трассе грузовик: заснувший водитель вывел фуру на встречку. Обоих — сразу. Алексей узнал об этом в два часа ночи, посреди рейда. Он доиграл рейд до конца — потому что сорок человек, потому что босс, потому что своих не бросают, — а потом до утра сидел перед погасшим монитором и не мог заплакать. На похороны не поехал. Сказал себе: не успеет, метель, электрички. На самом деле он просто не смог представить, как будет стоять один у двух гробов и куда девать руки.

Медведь до сих пор лежал за шкафом. Облезлый. С одним глазом.

Последней была Маша. Три года назад — кафе на Арбате, тусклые лампы, запах жареного лука и её духов, что-то цветочное, сиреневое. Она смеялась, запрокидывая голову, и у неё была родинка на шее, под левым ухом, и Алексей весь вечер думал о том, каково было бы коснуться её губами. Вместо этого он заказал стейк, который не мог себе позволить, и говорил. Про долги. Про начальника. Про то, что жизнь —

дерьмо, что всё несправедливо, что если бы ему дали шанс…

Она слушала, подперев щёку. Потом положила вилку.

— Лёш. Можно я скажу? Только не обижайся.

— Говори.

— Ты сейчас сорок минут рассказывал, что с тобой сделали другие. Начальник, банк, рынок, родители, которые не оставили квартиру в Москве. Я ни разу не услышала, что ты сделал сам.

— А что я могу сделать? Ты видишь, какая система…

— Вот. — Она грустно улыбнулась. — Опять система. Ты живёшь в играх, Лёша. Там понятно, кто босс и где он стоит. А тут босса нет. Тут надо просто встать утром и что-то сделать, даже когда никто не напишет тебе в чат, что ты бог. — Она взяла сумочку. — Ты хороший. Правда. Ты умный, ты добрый, ты смешной, когда забываешь, что тебе плохо. Но ты не готов к настоящему. А я не могу ждать, пока ты будешь готов. Мне тридцать.

— Маш…

— Позвони, когда что-нибудь сделаешь. Не для меня. Для себя.

Она встала, и стул шаркнул по плитке. Он остался с чеком на четыре тысячи и запахом сирени, который выветривался из-за столика ещё полчаса. Он так и не позвонил. Делать было нечего.

А до Маши была Лена. А до Лены — университет, где его считали умным, и он сам считал себя умным и думал, что

этого достаточно. Что ум — это валюта, которую рано или поздно кто-нибудь примет к оплате.

Никто не принял.

Звонок в дверь вырвал его из оцепенения. Он крикнул «Иду!» — хрипло, не отрываясь от экрана, где добивал мелкого демона, — и пошлёпал в прихожую босиком по линолеуму, липкому от пролитой колы. В трусах и футболке с пятном от соуса. В глазок он не посмотрел.

За дверью стоял Дмитрий.

Высокий, широкий, лысый, с татуировкой на шее — череп и кинжал — и перстнями на пальцах. Говорили, раньше служил в органах. Говорили, ушёл не сам. Два года назад он был «Димоном из паба у метро», который охотно угощал и охотно давал в долг.

«Лёх, братан, на бизнес? Под залог? Да какой залог, я ж тебя знаю».

Триста тысяч. На апгрейд компьютера для «фриланса». Фриланс так и не начался. Деньги ушли на скины, турниры, аренду аккаунтов. Потом пришлось занять ещё, чтобы отдать проценты. Потом ещё. Тридцать процентов в месяц. Алексей был экономистом и прекрасно знал, как работает сложный процент. Он просто не применял это знание к себе, как врачи не лечат собственный кашель.

— Привет, Лёха, — сказал Дмитрий спокойно. — Деньги где?

Он шагнул в квартиру, не дожидаясь приглашения, и за-

крыл за собой дверь. Стекло в кухонной двери тихонько дзынькнуло.

— Дим… — Алексей попятился и споткнулся о коробку. — Ещё пару дней. Я кредит возьму. Сегодня пойду в банк, честно.

— Пару дней. — Дмитрий кивнул, будто соглашался, и огляделся — на коробки, банки, монитор, носки на батарее. — Ты знаешь, сколько раз ты мне говорил «пару дней»? Я посчитал. Девятнадцать. Девятнадцать раз по пару дней — это месяц и неделя. А по факту три месяца. Ты даже врать по-человечески не умеешь, Лёх. Ты врёшь, как дети врут: лишь бы сейчас отстали.

— Дим, я правда…

— Знаешь, что самое обидное? — Дмитрий подошёл ближе, и от него пахло мятной жвачкой и холодом с улицы. — Я ж тебя уважал. Ты в пабе про экономику рассказывал — я слушал, рот открыв. Думал, вот мужик с головой. А ты оказался… — Он поискал слово и не нашёл. — Ладно.

Кулак вошёл в живот без замаха. Алексей не увидел удара, только почувствовал, как мир сложился пополам, как воздух вылетел из лёгких и не вернулся. Он упал на колени. Второй удар — коленом в бедро — уложил его щекой на пол. Третий, носком ботинка в рёбра, был почти ленивым. Что-то хрустнуло, сухо, как ветка под снегом.

— Два двести, — сказал Дмитрий сверху. — К четырнадцати часам. Любой ценой, Лёх. Займи у мамки, продай поч-

ку, ограбь ларёк — мне без разницы. Иначе будет хуже. И не надейся, что хуже уже некуда. Хуже всегда есть куда, я проверял.

Он сплюнул на пол — розовым, потому что жевал что-то с вишней — и ушёл, оставив дверь открытой. Метель потянула в квартиру снег.

Алексей лежал минут двадцать. Может, больше. Рёбра горели при каждом вдохе. Он смотрел на крошки под диваном и думал почему-то о Витьке из соседнего подъезда, с которым они в восемь лет строили снежную крепость, и о том, какие у Витьки были смешные варежки — красные, с оленями. Где сейчас Витька? Он не знал. Он вообще не знал, где сейчас хоть кто-нибудь из тех, кого он когда-то знал.

Потом пришёл курьер — мальчишка лет девятнадцати, красный от мороза, с инеем на редких усиках.

— Дементьев? Семьсот. — Он заглянул в щель приоткрытой на цепочку двери, увидел лицо Алексея и осёкся. — Мужик, у тебя кровь. Ты в порядке? Может, скорую?

— Упал, — сказал Алексей. — Скользко.

— Ну… это… — Курьер переступил с ноги на ногу. — Может, всё-таки? Я ж не тороплюсь, у меня последний заказ.

— Не надо. Спасибо.

Мальчишка ещё секунду смотрел на него, потом сунул пакет в щель и ушёл, дважды оглянувшись на лестнице. Запах картошки ударил в нос, и Алексея чуть не вывернуло.

В двенадцать снова позвонил Сергей Викторович.

— Алексей? Прогноз?

— Сергей Викторович, я…

— Да?

Он хотел сказать: меня избили. Хотел сказать: у меня, кажется, сломаны рёбра, и долг, и я не помню, когда последний раз ел что-то, что не привёз курьер. Хотел сказать: помогите. Он почти сказал.

— К четырнадцати, — сказал он и нажал «отбой».

Оделся. Синтетическая куртка зашуршала. Шарф пах потом. Шапку натянул до бровей, чтобы не видно было ссадины. Ближайшее отделение банка было через проспект.

В банке пахло мокрыми куртками и кофе из автомата. Пенсионеры кашляли в маски. Охранник, жуя, смотрел сериал на телефоне. Час Алексей просидел на жёстком стуле, глядя на табло с номерами, и считал, сколько людей проходит через окно за пять минут, и вычислял среднее время обслуживания, и получалось одиннадцать минут сорок секунд, и это было единственное за день, что у него получилось. Потом его вызвали к окну, где сидела девушка — ухоженная, темноволосая, с красными ногтями и бейджем «Анна. Кредитный специалист». Она посмотрела на него один раз — на нечёсаную бороду, на пятно на куртке, на синяк, наливающийся на скуле, — и больше не смотрела. Смотрела в монитор.

— Алексей Анатольевич. Потребительский кредит на два миллиона двести? — Ноготь постучал по клавише. — Цель

кредита?

— Рефинансирование… частных обязательств.

— Частных. — Красные губы чуть сжались. — Понятно. Закредитованность сто сорок процентов. Три активные просрочки. Подтверждённый доход не покрывает текущих обязательств. Дополнительные источники дохода есть?

— Фриланс. Иногда. — Щёки горели. — Турниры. Я выигрываю. Премии на работе…

— Турниры, — повторила она, и губы её дрогнули, и снова стали ровными. — По какой дисциплине?

— Это… компьютерная игра.

— Это не считается подтверждённым доходом. К сожалению, отказ. Рекомендую обратиться за реструктуризацией по текущим кредитам.

— Подождите. — Он наклонился к стеклу так близко, что увидел на нём отпечатки чужих пальцев. — Анна. Пожалуйста. Может, частично? Пятьсот тысяч. Двести. Я верну. Честно. Мне очень надо. Вы не понимаете, мне сегодня…

Она впервые подняла на него глаза. В них не было злобы. Была усталость человека, который слышит «вы не понимаете» сорок раз за смену.

— Алексей Анатольевич. Я понимаю. Правда. — Она чуть понизила голос. — Если у вас проблемы с людьми, которые дают деньги не через банк, — идите в полицию. Не ко мне. Я вам ничем не помогу, у меня система. — Она нажала «закрыть заявку». — Следующий.

На улице метель усилилась. Алексей шёл, держась за бок. Когда ему было плохо, он считал, — привычка, оставшаяся от отца вместе с запахом машинного масла в памяти. Два двести — долг. Двадцать восемь — зарплата. Восемьдесят один месяц — столько он работал бы, отдавая всё до копейки и питаясь воздухом. Почти семь лет. Сложный процент делал эту цифру бесконечной. Формула в голове сошлась. Бесконечность. Логично.

У светофора на проспекте стоял подросток лет пятнадцати, в наушниках, в натянутом капюшоне. Горел красный, но машин не было, и мальчишка шагнул на дорогу. Из снежной мути вынырнул чёрный спорткар, низкий, ревущий, с выключенными фарами: водитель, видно, решил, что метель ему не указ. Мальчишка замер посреди полосы, как замирают зайцы в свете фар.

Алексей сорвался с места раньше, чем успел подумать. Потом, вспоминая, он помнил только движение. Он рванулся вперёд, грузный, с треснувшими рёбрами, и врезался в мальчишку плечом. Они вылетели на тротуар вместе и рухнули в сугроб. Спорткар пронёсся в метре, обдав их снежной кашей, и сгинул в белом, как будто его и не было.

— Ты чё?! — Мальчишка выдрал наушник. Глаза у него были круглые. — Ты чё, мужик? Он же… Он же меня чуть не сбил!

— Сбил бы, — сказал Алексей. Рёбра выли. Он с трудом сел в сугробе. — Насмерть. На такой скорости не тормозят.

— Спасибо. Спасибо, мужик, я… — Мальчишка вдруг покраснел до ушей. — Ты это… у тебя лицо в крови. Это я тебя так?

— Нет, это не ты. Это меня утром другие люди отделали.

— Может, тебе помочь? До дома дойти? Я Тёма. Я тут рядом живу.

Алексей посмотрел на него — тощего, испуганного, с прыщом на подбородке и с телефоном, который мальчишка всё ещё сжимал, как спасательный круг.

— Тёма, — сказал он. — Ты что слушал?

— Чего?

— В наушниках. Так, что машину не услышал.

— А… — Мальчишка смутился ещё сильнее. — Аудиокнигу. Фэнтези. Там про парня, который попал в другой мир. Дурацкая, если честно. Но затягивает.

Алексей засмеялся. Это было больно — смеяться с треснувшими рёбрами, — но он засмеялся, впервые за месяц, а может, и за год.

— Иди домой, Тёма. На красный не ходи. И книжку дослушай. Вдруг там что-то умное в конце.

О том, что сам каждый день ходит на красный, он промолчал.

Мальчишка побежал дальше, оглядываясь и махая рукой. Алексей стоял на тротуаре и смотрел ему вслед. Это было первое за пять лет, о чём он не жалел.

Дома он сел на пол у двери. Компьютер так и остался

выключенным. Алексей просто сидел. Телефон вибрировал: Сергей Викторович, Сергей Викторович, Сергей Викторович. Потом пришло сообщение, и Алексей прочитал его на заблокированном экране, не открывая: «Алексей, я перенёс совет на завтра и сделал вид, что у меня мигрень. Пришлите хоть что-нибудь. Я серьёзно. Не заставляйте меня жалеть о том, что я в вас верю».

Он смотрел на это сообщение долго. Сергей Викторович в него верил. Кто бы мог подумать.

Он даже открыл ноутбук. Даже открыл пустой файл. Даже набрал заголовок: «Прогноз целевых показателей на…»

В половине третьего в дверь ударил кулак.

— Открывай, Лёха! — Голос Дмитрия был спокойным, и от этого спокойствия у Алексея холодели пальцы. — Рано или поздно выйдешь. Менты тебе не помогут. Я найду.

Алексей открыл. Сам не знал зачем. Может быть, потому что в нём ещё жила глупая надежда, что можно поговорить по-человечески.

Дмитрий вошёл и огляделся, как оглядывают квартиру, которую собираются купить и уже прикидывают, что выбросить.

— Ну?

— Кредит не дали, Дим. Дай отсрочку на месяц. У меня проект, начальник обещал премию, я всё отдам, честное слово.

Дмитрий рассмеялся. Без злости — с искренним весе-

льем.

— Премию. Ты шутник, Лёх. Тебя даже на органы не возьмут: сердце жирное, лёгкие в дырах, печень — я по морде вижу — как губка. — Он прошёл к столу и положил ладонь на системный блок, как кладут ладонь на голову собаке. — Вот это возьму. Как аванс.

Ужас обжёг сильнее, чем утренние удары.

— Нет. — Алексей шагнул вперёд. — Нет, Дим. Это всё, что у меня есть. Там… там люди. Гильдия. Я им обещал, в субботу рейд, без меня они…

— Люди, — повторил Дмитрий и посмотрел на него почти с жалостью. — Лёх. Это не люди. Это картинки. Люди — это я. Я тут стою. Меня можно потрогать. — Он постучал костяшками по своей груди. — А там — свет из коробки. Тебе тридцать шесть, а ты за свет из коробки сейчас драться полезешь?

— Без него у меня вообще ничего не останется.

— Без него ты будешь тем, кто ты есть, — сказал Дмитрий. — Никем. Зато честно.

Он выдёргивал провода аккуратно, по одному, будто разминировал бомбу. Алексей вцепился ему в куртку. На миг — всего на миг — он увидел на подоконнике тяжёлую стеклянную вазу, мамину, единственное, что забрал из посёлка, и подумал, что можно её схватить. Мысль пришла и умерла. Его руки умели нажимать клавиши. Больше ничего.

— Отпусти, — сказал Дмитрий, не оборачиваясь.

Алексей вцепился крепче.

Удар в живот. Удар в голову. Висок встретился с углом стола, и мир зазвенел, как разбитое стекло.

Он лежал на полу и видел, как Дмитрий уносит под мышкой системный блок — его гильдию, его посох, его восемьсот человек, его «ты бог». Видел ботинки в снегу. Слышал, как на лестнице хлопнула дверь лифта.

— До послезавтра, Лёха! — донеслось снизу. — Два ляма. Или будет веселее!

Алексей лежал и смотрел на открытую дверь. Холодный линолеум прилипал к щеке. Телефон опять зазвонил. Сергей Викторович. Алексей лежал неподвижно.

Боль в груди подступала исподволь. Сначала стало тесно, как будто кто-то сел ему на грудь и устроился поудобнее. Потом в лёгких булькнуло, словно их залили тёплой водой. Во рту стало солоно. Он подумал, что надо бы позвонить в скорую, и понял, что телефон на столе, а до стола четыре шага, и четыре шага показались ему расстоянием до Луны.

Долги, Дмитрий, начальник, который в него верил, — всё это отступило куда-то далеко. Он думал о мамином голосе: «Он убивал тем, что не убегал». О руках отца с въевшимся в трещины машинным маслом. О сиреневом запахе, который полчаса выветривался из-за столика. О Маше: «Позвони, когда что-нибудь сделаешь». О Тёме в наушниках, который сейчас, наверное, уже дома и рассказывает матери, как его чуть не сбили, а мать кричит на него и плачет, и обнима-

ет, и снова кричит.

Вот, подумал он с той пронзительной ясностью, которая приходит только в самом конце. *Вот кому я мог бы позвонить, Маш. Я сделал. Одного.*

Сделай иначе, сказало что-то внутри — тише голоса, меньше голоса. *Если будет хоть какой-то шанс — сделай иначе.*

— Сделаю, — шепнул он. Губы шевельнулись беззвучно.

За окном выла метель — длинно, ровно, без начала и конца, как поют просто потому, что пришла зима.

Потом стало темно.

И в темноте — очень далеко, будто за тысячей стен — кто-то запел. Низко, на языке, которого он не знал. И пламя, которого он не видел, наклонилось к нему.

Глава 2. Сын эликсиров

Сначала был свет.

Тусклый, дрожащий, жёлтый, как огонёк масляной лампы в деревенском нужнике. Он плавал где-то сверху, расходился кругами, и Алексей долго не мог понять, на что смотрит: глаза не слушались, всё двоилось и мутнело, будто кто-то намазал мир гусиным жиром.

Потом было лицо.

Оно склонилось над ним — огромное, морщинистое, с крючковатым носом и бородой цвета грязного снега. Глаза

под кустистыми бровями светились зелёным, ядовитым, как гнилушки на болоте. Рот шевелился, выталкивал слова — гортанные, с придыханием, похожие на кашель. Ни одного знакомого звука.

Это ад, подумал Алексей. Мысль пришла ясная, спокойная, почти деловая. *Я умер на полу в Бутово и попал в ад. Это чёрт. Сейчас будет сковородка. Надеюсь, хотя бы с маслом.*

Он попробовал заговорить. Из горла вырвался писк — тонкий, мяукающий.

Он попробовал поднять руку. Рука поднялась, и он её увидел. Крошечную. Красную. Сморщенную, с пальчиками размером с горошину. Рука качнулась в воздухе и упала: мышцы её не держали.

Тогда пришла паника — телом, волной от живота к горлу, — и вырвалась наружу криком. Младенческим, захлёбывающимся, бессмысленным. Он кричал и не мог остановиться, и ненавидел себя за этот крик, и кричал ещё громче.

Зелёные глаза наблюдали за ним с интересом.

— Тише, — сказало лицо. Слова Алексей не понял, но понял интонацию: так говорят с крысой, которая слишком шумно бьётся в клетке. Сухая ладонь легла ему на грудь деловито, как ладонь барышника на бок лошади. — Тише, тише. Сердце надорвёшь, а оно мне ещё пригодится.

Потом в рот влили что-то горькое, пахнущее полынью и железом, и мир поплыл.

* * *

Первые месяцы он помнил так, как помнят горячечный бред. Обрывками.

Главным был запах. Подземелье пахло кровью — свежей и старой, сладковатой и кислой. Гнилым мясом, уксусом, палёной шерстью, болотной тиной, травами без имени. Иногда пахло так, что его рвало прямо в пелёнки, и тогда приходила женщина — грузная, молчаливая, с руками, разъеденными щёлоком до красноты, — меняла тряпки и уходила, ни разу на него не взглянув. Однажды она всё-таки заговорила — не с ним, а сама с собой, стягивая мокрую пелёнку:

— Ещё один. Сколько вас тут было. Ни один до весны не дожил. И ты не доживёшь, кутёнок, не надейся.

Он запомнил. Он запоминал всё.

Звуки: бульканье колб. Капель в углу. Скрежет ножа по кости. Иногда — визг, высокий и короткий, животный, и после него долгая тишина, в которой было слышно, как старик что-то довольно мурлычет себе под нос.

Он лежал в колыбели, сделанной из костей. Понял он это не сразу — сначала принимал за светлое дерево. Однажды, повернув голову, разглядел сочленение двух жердей: суставная головка, аккуратно вставленная в чашечку и обмотанная жилой. Чья-то бедренная кость. Может быть, человеческая. Он долго смотрел на неё и думал, что, если бы мог, засмеялся бы. Тридцать шесть лет мечтать о фэнтезийном мире — и пожалуйста. Колыбель из покойников.

Старика звали Мальдориан. Это слово Алексей выучил первым — раньше «мамы», раньше «есть», — потому что старик повторял его, тыча себя пальцем в грудь, с жадной настойчивостью, будто проверял: поймёт ли? Второе слово — «Элдрин» — старик говорил, тыча пальцем в него.

Так он узнал своё новое имя.

Элдрин. На старом наречии подземелья — «сын эликсиров».

* * *

Тело росло быстрее, чем следовало. Алексей — он ещё долго, годы, называл себя внутри Алексеем — понимал это, потому что помнил детей двоюродной сестры: те в три месяца еле держали голову. Он в три месяца переворачивался. Его поили трижды в день из глиняной чашки с отбитым краем — то горьким, то солёным, то таким сладким, что слипалось горло. После питья мышцы горели, как после спортзала, в который он не ходил с девятого класса, а ночью ныли кости, тупо и глубоко, будто изнутри что-то вытягивали клещами.

— Пей, — бормотал Мальдориан, придерживая ему затылок. — Пей, сосудик. Кровь предков разбудит тебя. Или сожжёт. Посмотрим, что раньше.

Сосуд. Это слово он тоже понял рано. Слишком рано для того, кто не должен был понимать ничего.

Хуже тела был разум, запертый в нём, как человек, замурованный живьём в стену. Он думал полными фразами. Помнил формулу сложного процента и сюжет «Властелина

колец». Помнил запах маминых пирогов с капустой и вкус бургера с двойным сыром. А сказать не мог ничего — только пищать. Ночами, когда старик уходил наверх и подземелье погружалось в совершенную тьму, Алексей лежал в костяной колыбели и чувствовал, как поднимается в нём крик — настоящий, взрослый, яростный, — и не мог его выпустить. Крик застревал в груди и оседал там тяжёлым камнем, и утром камень оставался, а ночью к нему прибавлялся новый.

Он думал, что сойдёт с ума. Почти хотел. Безумие казалось дверью наружу.

Но разум выдержал. Разум, который тридцать шесть лет расходовал себя на рейды и пустые файлы, оказавшись в клетке, вдруг заработал, как заработал бы застоявшийся мотор, если бы под ним развели костёр. Он слушал. Запоминал. Раскладывал звуки чужого языка на кирпичики, как когда-то раскладывал квартальную отчётность: корни, окончания, интонации. Через шесть месяцев понимал простые фразы. Через восемь — почти всё, что говорил старик.

А старик говорил много.

Вот что было самым странным. Мальдориан с ним разговаривал — так одинокий человек говорит с собакой или с горшком герани. Ночами, когда работа не шла, колдун садился у колыбели на табурет, грел руки над жаровней и говорил.

— Граф снова недосчитался месяца, — рассказывал он,

наливая себе что-то мутное из глиняной бутыли. — Три месяца за два года. Знаешь, как он это принимает? Он перестал смотреть в зеркало при свечах. Только при дневном свете, у окна. При свечах морщины глубже. Он думает, виновата повитуха. Или полынь в еде у эльфиек. Или я. — Сухой смешок, как треск хвороста. — Он прав только в последнем, сосудик. Только в последнем. Но он никогда в этом не признается, потому что тогда придётся признать, что он ошибся той ночью. А граф не ошибается. Граф — это дверь, а двери не ошибаются, они либо открыты, либо закрыты.

Или так:

— Я четвёртый на этой службе. Первым был Аурен. Тот, что нашёл мальчика Кариона на пепелище у Корвеля и вырастил его на отварах из тварей. Великий был человек. Закрыл разлом своей грудью — буквально, сосудик: лёг на трещину и держал, пока не стал камнем. Ты увидишь его когда-нибудь. Он стоит во дворе, у колодца. Голуби на нём гадят. — Старик пожевал губами. — Потом был Сайлес. От него остались записи и хромая кобыла. Потом Морвен. От Морвена осталось пятно. — Палец ткнул в потолок. — Видишь? Вон то, бурое. Он хотел уйти из замка без позволения графа. Сделал три шага за ворота. Печать не пустила. Собрали ложкой, а то, что на потолке, так и не отскоблили.

Алексей видел пятно. Смотрел на него ночами и думал: *печать*.

— Кровяная печать, — говорил Мальдориан и закатывал

рукав. На сгибе локтя, под тонкой стариковской кожей, темнел знак — круг с вписанной в него раскрытой ладонью, похожий на клеймо. — Капля его крови в моей. Пока я в стенах Грайворна, я старею, как все, медленно. Шагну за стены на день — постарею на месяц. На неделю — на полгода. Он меня не держит, сосудик, нет. Он просто не даёт мне уйти. Это разные вещи. Цепь держит. Печать — уговаривает. Каждую минуту. Изнутри.

Он опускал рукав и долго смотрел на огонь.

— А ты, — говорил он тише, — ты пришёл оттуда, откуда никто не приходит. Ты не печать. Ты дверь. Я ещё не знаю куда. Но я узнаю. У меня есть время. У меня, видишь ли, его больше, чем у графа, хоть он этого и не знает.

Алексей слушал и понимал, что старик рассказывает ему вещи, за которые в этом замке убивают. Рассказывает потому, что уверен: младенец не поймёт. Младенец не запомнит. Младенец — сосуд, а сосуды не слушают.

И Алексей решил, что старик никогда не узнает, что он понимал. Никогда.

Это было первое решение, которое он принял в новой жизни.

* * *

В девять месяцев он пополз. Каменный пол был холодным и липким от непонятных пятен. Он научился обходить лужи, в которых иногда отражался багровый свет, и не трогать колбы на нижних полках, где что-то шевелилось и иногда стуча-

ло в стекло. Научился угадывать настроение старика по шагам: шаркающие — устал, можно подползти и смотреть, как он работает; частые, сухие — злится, лучше в угол, за бочку с рассолом.

В год он сделал первый шаг, цепляясь за край алхимического стола. В тот же день подтянулся к медной реторте, начищенной до блеска, и впервые увидел себя.

Бледное, почти прозрачное лицо. Волосы — нет, не светлые: пепельные, серебристо-серые. Огромные голубые глаза, неуместно серьёзные для детского лица. И уши. Уши были не человеческие. Не совсем. Чуть вытянутые вверх, чуть заострённые на кончиках, как будто кто-то начал лепить эльфа и бросил работу на середине, потому что позвали обедать.

Полуэльф, подумал Алексей. *Значит, этот мир…*

Он не додумал. Он стоял, вцепившись в край стола, смотрел в медь, и медь смотрела на него, и где-то под рёбрами шевельнулась холодная догадка, страшнее любого страха. *Это тело кому-то принадлежало. До меня. Кто-то в нём был. Куда он делся?*

Он отогнал эту мысль. Он был ещё не готов её думать.

* * *

В подземелье приходили люди.

Первый год он видел только старика и молчаливую женщину со щёлоком. Но лаборатория Мальдориана была ещё и лекарской: колдун лечил замок. К нему спускались — по узкой лестнице, держась за стену, — стражники с рваными

ранами, слуги с ожогами, кухарки с порезанными пальцами. Спускались эльфы, тонкие, бледные, в серых балахонах, с металлическими кольцами на шеях, приносили травы, коренья, мешки с чем-то мокрым и тяжёлым, что пачкало пол бурым.

Один эльф приходил чаще других. Высокий, с узким лицом и глазами цвета зимнего неба. Его звали Целестар. Он ходил в леса за тем, что было нужно колдуну.

— С каждой вылазкой труднее, мастер, — сказал он однажды, опуская на пол корзину, из которой несло болотом. — Твари злее. Выползают туда, где их не было десять лет. На прошлой неделе у Чёрной протоки нашли пастуха. Пустого.

— Пустого — это как? — Мальдориан не поднял головы от ступки.

— Кожа на костях, мастер. Ни крови, ни нутра. Лежал на лугу, как сброшенная змеиная шкурка. Овцы стояли вокруг и не ели. Три дня не ели, пока их не забили. Пастуха жена опознала по бородавке на носу. Больше узнавать было не по чему.

— Я знаю. — Голос у старика был усталый. — Швы расползаются, Целестар. Каждый год немного больше.

— Почему?

Колдун поднял на него зелёные глаза и долго смотрел.

— Ты когда-нибудь брал в долг у ростовщика, Целестар?

— Рабам не дают в долг, мастер.

— Счастливый. — Мальдориан снова опустил глаза на

корни. — Мир — это лавка. Кто-то где-то взял товар и недоплатил. Лавочник терпелив, но не бесконечно. Сначала он присылает письмо. Потом мальчишку. Потом приходит сам. Пастух — это мальчишка, Целестар. До лавочника ещё далеко. Но он уже надевает сапоги.

Элдрин, сидевший за бочкой, замер. Где-то в его памяти — в другой, московской — эти слова отозвались, как больной зуб на холодную воду. *Тридцать процентов в месяц. Лёх, деньги где?*

Он научился растворяться в тенях. Ребёнок, тихо сидящий за бочкой, невидим для взрослых, как мебель. Так он услышал историю Гарта.

* * *

Рыцарь спустился поздно вечером. Он был ранен, но хуже раны было другое: он был сломан. Латы искорёжены глубокими бороздами, будто их драли вилами. Шлем он нёс в руке, и рука тряслась так, что забрало позвякивало. Лицо под слипшимися волосами было серым, как зола.

— Колдун, — сказал он, и голос сорвался на «у».

— Садись. Пей. — Мальдориан сунул ему кружку. Рыцарь выпил залпом, не глядя что.

— Это был Гарт. — Он смотрел в пустую кружку, как в колодец. — Ты помнишь Гарта? Охотник. Рыжий, смешливый, зуба переднего нет. Приносил тебе медвежий жир для мазей.

— Помню. Жир у него всегда был с шерстью. Ленился

вытапливать.

— Два месяца назад он ходил к старым руинам у Серебряной гряды. За лисой. Мы ему говорили: не ходи, там что-то проснулось, все знают, пастухи туда коз не гонят. Он смеялся. Говорил: «Если там что проснулось, я ему колыбельную спою, оно и заснёт». Вернулся тихий. Неделю не смеялся. Жена его, Мойра, приходила ко мне, спрашивала, не ранен ли он, а я сказал: баба, у мужика бывает. — Рыцарь закрыл глаза. — А потом полнолуние.

— Где?

— В казарме. Ночью. Он лёг на свою койку, как всегда. Мы проснулись от того, что Тобби кричит. Тобби спал с ним рядом. У Тобби… — Рыцарь замолчал, сглотнул. — У Тобби больше нет лица, колдун. Гарт съел ему лицо. Он сидел на нём и жевал, и хрустело, как у собаки, когда она кость грызёт. И мы стояли с факелами вокруг и не могли пошевелиться, потому что это был Гарт. На нём была его рубаха. Та, с заплатой на локте, которую ему Мойра штопала.

Элдрин за бочкой перестал дышать.

— Мы выгнали его в овраг. Факелами. Шестеро. Он ревел. И кричал — человеческим голосом, колдун, понимаешь? Пастью волчьей кричал человеческим голосом: «Братья, простите. Это не я. Бертран, это не я, держи меня, держи». — Слёзы стояли у рыцаря в глазах, злые, мужские, не текущие. — Серебро его не брало сразу. Он заживал. Мы рубили — он заживал. Рубили снова. Сначала лапы, чтобы не

ушёл. Задние. Он полз на передних и выл. Потом передние. Он лежал в грязи, обрубок, и всё равно полз. На брюхе. Ко мне. И говорил: «Сайм. Сайм, скажи Мойре…» — Рыцарь закрыл лицо ладонью. — Тогда Бертран всадил ему клинок в глаз. До рукояти. Провернул. И только тогда он затих. А перед этим посмотрел на меня. Не зверем. Гартом. Он меня узнал, колдун. Он меня *узнал*.

Долго было тихо. Капала вода. Булькала колба.

— Что он хотел передать жене? — спросил Мальдориан.

— Не договорил.

— Жаль. — Старик помолчал и спросил тем же ровным голосом: — Голову принесли?

Рыцарь посмотрел на него, как смотрят на человека, сказавшего похабщину на похоронах. Потом медленно развязал мешок у пояса и положил на стол свёрток. Ткань промокла насквозь, тёмная, тяжёлая. Мальдориан развернул её. Под тканью была голова — уже не волчья, ещё не человеческая: рыжая шерсть, вытянутая челюсть, щербина на месте переднего зуба, один глаз выбит клинком, второй — остекленевший, с тем же вопросом.

— Остальное сожгли, — сказал рыцарь. — По обычаю. Пепел развеяли.

— Правильно. — Мальдориан уже поворачивал голову пальцами за челюсть, разглядывая клыки на свет. — Эссенция проклятия сидит в мозге, в задней доле. Мне хватит. Скажи вдове, что я дам ей полрубца за жир, который он мне

задолжал. Пусть не думает, что я забываю долги.

Рыцарь встал. Постоял. Посмотрел на голову друга в руках колдуна.

— Ты знаешь, что ты такое, Мальдориан? — сказал он тихо.

— Знаю, Сайм. Я тот, к кому ты пришёл. Больше идти было не к кому. Иди спать. Утром приходи — дам отвар от снов. Тебе понадобится.

Рыцарь ушёл, не сказав больше ни слова.

Элдрин сидел за бочкой и думал не о волколаке и не о голове. Он думал о том, что Мальдориан спросил «голову принесли?» раньше, чем сказал хоть одно слово утешения.

Он не злой, понял Элдрин. *Он хуже. Ему всё равно.*

И сразу, холоднее: *как мне было всё равно. На похоронах, на которые я не поехал. На Машу. На всех.*

Он сжал маленькие кулаки так, что ногти впились в ладони. Было больно. Это было хорошо. Это значило, что ему не всё равно.

* * *

Нериэль появилась, когда ему было три.

Однажды утром по лестнице спустилась не кухарка со щёлоком, а эльфийка — высокая, стройная, с тяжёлой золотистой косой через плечо. На ней было светло-зелёное платье из тонкой шерсти, слишком красивое для подвала, а на шее — тусклый серый ошейник. Она остановилась у подножия лестницы и обвела взглядом лабораторию: колбы, столы, ко-

сти, пятно на потолке. В её взгляде не было ни страха, ни отвращения. Только внимание. Так разведчик осматривает долину, где придётся зимовать.

Потом её взгляд упал на Элдрина. Он сидел на полу с куском угля и рисовал на камне — не каракули, а то, что успел запомнить с карт на стене: изгиб побережья, горный хребет, реку. Стереть он не успел.

Эльфийка смотрела на рисунок долго. Потом подняла глаза на него.

— Граф прислал её тебе в помощь, — сказал Мальдориан, выходя из-за стеллажа. Говорил он с эльфийкой, но смотрел на Элдрина — с тем же жадным интересом, что всегда. — Я сказал ему, что взял на воспитание эльфийского подкидыша. Из деревенских. В подмастерья. Граф не любит, когда в замке есть что-то, о чём он не знает, поэтому прислал глаза и уши. — Старик усмехнулся. — Её зовут Нериэль. Старшая в восточном крыле. Знает травы, знает раны. Будет при тебе.

— Зачем ему нянька? — спросила Нериэль ровно. — Он рисует карты.

— Это не карты. Это каракули. — Мальдориан даже не взглянул на пол. — Затем, что я стар, а он мал. Затем, что если он умрёт от простуды, я потеряю три года работы. Корми его. Лечи. Учи языку и письму — человеческому. Чему ещё сочтёшь нужным. Но к столам не подходи. Никогда. Тронешь хоть одну колбу — и граф получит тебя обратно без пальцев.

— Как прикажешь, мастер.

Она поклонилась — ровно настолько, насколько требовалось, ни на волос глубже. Мальдориан ушёл наверх. Нериэль постояла, глядя ему вслед. Потом подошла к Элдрину, присела на корточки и снова посмотрела на рисунок.

— Западное побережье, — сказала она тихо. — Почти правильно. Вот здесь залив глубже. — Она взяла уголь из его пальцев и провела однулинию. — А здесь Портовое Логово. Ты видел карту у мастера на стене?

Элдрин молчал. Трёхлетний ребёнок не должен рисовать карты. Трёхлетний ребёнок не должен понимать вопросов.

Нериэль смотрела на него. Зелёные глаза, глубокие и спокойные, как вода в лесном колодце.

— Я не скажу ему, — сказала она очень тихо. — Никому не скажу. Но и ты не показывай. Ни мне, ни ему, ни кошке на лестнице. Здесь даже у кошек есть хозяин.

Она стёрла карту ладонью, одним движением, и протянула ему руку.

— Пойдём. Тебя надо вымыть. От тебя пахнет, как от этих колб. Мальчик не должен пахнуть уксусом.

* * *

Нериэль говорила с ним как раб, который учит другого раба выживать.

— Твои уши слышат лучше человеческих. Слушай шаги. Шаги говорят всё: устал человек, зол, пьян, спешит, боится. Ты должен знать, кто идёт, раньше, чем он увидит тебя.

— Твои глаза видят в полутьме. Смотри на руки, а не на

лица. Удар начинается с плеча, а не со взгляда. Лицо врёт. Плечо — никогда.

— Опускай глаза перед людьми. Всегда. Даже перед конюхом. Особенно перед конюхом: у конюхов мало власти, и поэтому они любят её показывать. Граф ударит тебя один раз, если ты провинишься. Конюх будет бить каждый день, просто потому что может.

— Никогда не ешь первым из чужой миски.

— Запоминай двери. Каждую. Куда ведёт, когда открыта, кто ходит. Однажды тебе понадобится дверь, и у тебя не будет времени её искать.

Она учила его человеческому языку и эльфийскому — старому, певучему, на котором в замке говорили только шёпотом. Учила травам: какие сбивают жар, какие останавливают кровь, какие усыпляют, а какие — тем же ровным голосом — усыпляют навсегда. Перевязывала ему руки после того, как Мальдориан брал кровь. Сидела рядом, когда его лихорадило от новых эликсиров. Ласки она берегла, как берегут последний хлеб: ни объятий, ни поцелуев. Но однажды ночью, проснувшись от кошмара — ему снилась метель, открытая дверь и снег на линолеуме, — он обнаружил, что её ладонь лежит у него на лбу. Просто лежит. Прохладная, пахнущая мятой и дымом.

Он не открыл глаз. Лежал и чувствовал эту руку, и что-то внутри, тридцать шесть лет сжатое в кулак, разжалось. Немного. На палец.

По вечерам, когда Мальдориан уходил наверх, в голосе Нериэль появлялись другие ноты. Она рассказывала то, чего не было в книгах мастера.

— Мы пришли из-за грани, — говорила она, глядя в жаровню. — Тысячу лет назад. Жрецы людей открыли разрыв в мире. Врата Пения, так их называли. Они хотели говорить с богами. Боги не ответили. Ответили мы. Наш мир умирал. Там была война, бесконечная, кланы резали друг друга за последние живые земли, и трава там росла красная от крови, а реки были солёные от слёз. Так говорят песни. Песни, конечно, врут. Но не во всём. Когда открылась дверь, наши предки шагнули в неё.

— И люди вас приняли?

— Приняли. — Нериэль усмехнулась, и в усмешке не было тепла. — Сначала. Дали землю. Леса на севере — Серебряные леса, так мы их назвали, потому что кора там светилась по ночам, как рыбья чешуя под водой. Мы учили людей тому, что знали. Лечить. Слушать землю. Магии. — Она помолчала. — Это было ошибкой. Люди взяли магию и сделали из неё то, что делают из всего: мечи и замки. А потом стали бояться нас. За то, что мы живём дольше. За то, что помним их дедов молодыми. Знаешь, каково это — когда старик-король приходит к тебе за советом, а ты помнишь, как он писался в пелёнки? Королям такое не нравится. Страх стал ненавистью. Ненависть стала Резнёй.

— Столетней, — сказал Элдрин. Он слышал это слово от

Мальдориана.

— Столетней. Триста лет назад началась, двести лет назад кончилась. Сожгли Серебряные леса. Травили колодцы. Ломали барьеры. Вырезали роды под корень, от стариков до младенцев. В Кленовой Долине согнали четыреста наших в амбар и подожгли, а тех, кто выбивал доски, ловили на вилы и бросали обратно. Наш бард пел об этом сорок лет, пока ему не отрезали язык. Тех, кто выжил, заковали и продали. Свободные кланы ушли в горы и в Пустоши. Остальные… — Она коснулась ошейника. — Остальные здесь.

— Мастер говорит, вы проиграли, потому что были слабее.

— Мастер много говорит. — Она взяла его руку и повернула ладонью вверх, разглядывая следы от игл. — Мы проиграли, потому что верили, что у войны есть правила. Что пленных не режут. Что колодцы не травят. Что детей не… — Она осеклась. — Люди ни во что не верили, кроме того, что их больше. И оказались правы.

— Значит, правила — это слабость?

Нериэль смотрела на него так долго, что ему стало неуютно, и он отвёл глаза.

— Правила — это то, что отличает тебя от *него*, — сказала она наконец и кивнула наверх, туда, где был граф, где были колыбели и трубки, о которых в замке не говорили вслух. — Ты можешь стать сильнее, отказавшись от них. Многие становились. Но однажды проснёшься на его месте. И рядом

не будет никого, кто скажет тебе об этом. Потому что всех, кто мог сказать, ты уже убил. Сам. Ради силы.

— А если не откажусь — меня убьют.

— Может быть. — Она пожала плечами. — Тогда ты умрёшь собой. Это немало, Элдрин. Ты не представляешь, как мало кому это удаётся.

* * *

Ему было пять, когда он спросил про ошейник.

Был поздний вечер, жаровня догорала, и Нериэль сидела на краю его узкой койки за ширмой, штопая рубашку. Он смотрел, как двигается её горло, когда она перекусывает нитку, и как металл ошейника блестит в красном свете углей.

— Почему ты его не снимешь?

Она не сразу поняла, о чём он. Потом пальцы сами нашли металл — тусклый, серый, тёплый от кожи. Она носила его так давно, что перестала замечать, как не замечают собственного пульса.

— Его не снимают, — сказала она. — Его перерастают. Или в нём умирают.

— Ты переросла?

— Пока нет.

Элдрин сидел и болтал ногами — так полагалось ребёнку. Нериэль давно поняла, что он делает это нарочно. Мальчик, который в пять лет читает трактаты о свёртывании крови, болтает ногами, потому что знает: ребёнку положено.

— Как ты сюда попала?

Игла замерла в ткани. Он думал, что она не ответит. Потом она заговорила — тихо, будто стены могли подслушать.

— Мой род — Дикие Клинки. Пепельные Пустоши, восточный край. Мне было двадцать два года. Для нашего народа — едва взрослая. Мы были разведчицами, я и ещё четверо. Пропал наш отряд, ушедший на запад, к людским землям. Семеро. Среди них мой брат. Его звали Тайрин. Он был младше на год и всё время у меня что-нибудь воровал: ленты, ножи, сушёные яблоки. Мы пошли искать. Нашли. Их тела висели на стене Корвеля. На крюках. Для назидания. Под ними стояла табличка, и люди ходили читать её, как читают объявления о ярмарке. Птицы уже поработали. Я узнала Тайрина по рубашке — я сама вышивала ему ворот. Мы смотрели из леса два дня. Не могли уйти. Знаешь, почему? Мы ждали, что они пошевелятся. Глупо. На третий день нас взяли. Сонная стрела. Проснулась я уже здесь, в ошейнике. Тридцать три года назад.

— Тридцать три, — повторил он.

— Граф держит эльфиек для… — Она запнулась и посмотрела на него. Он смотрел в ответ — серьёзно, не по-детски. Она решила. — Для своих обрядов. Ты знаешь каких. Вижу, что знаешь. Я была там. Я рожала. Двоих. — Голос не дрогнул. Только игла в пальцах сломалась пополам, тихо, с сухим щелчком. — Мне сказали, что их отдали кормилицам. Я не спрашивала дальше.

Элдрин молчал. Алексей Дементьев, за тридцать шесть

лет никому не сказавший ничего важного, не знал, что сказать. И впервые понял, что иногда говорить и не надо.

— Почему ты не бежишь? — спросил он наконец.

— Потому что бежать — значит умереть. — Она отложила рубашку и обломки иглы. — А умереть — значит дать погаснуть последней искре памяти о моём доме. Пока я жива, жив и Тайрин на той стене. И мой род. И Серебряные леса. Хотя бы во мне.

Она посмотрела на него.

— А теперь я должна следить, чтобы эта искра не погасла и в тебе. До того дня, когда появится шанс.

— Какой шанс?

— Любой. — Она встала. — Спи. И не болтай ногами, когда никто не видит. Ты устаёшь от притворства. Я вижу.

* * *

Мальдориан брал у него кровь раз в неделю.

Укладывал на каменный стол — не привязывал: Элдрин никогда не сопротивлялся, это было его второе решение — и вводил тонкую серебряную иглу в вену на сгибе локтя. Кровь текла по трубке в колбу. Старик смотрел её на свет, нюхал, капал реагенты и что-то записывал в толстую книгу в чёрном переплёте. Иногда вводил что-то обратно — густое, тёплое, от чего жгло вены и звенело в ушах, как после пощёчины.

Элдрин терпел. Сжимал зубы, смотрел в потолок, на бурое пятно, которое было Морвеном, и терпел. Он заметил, что в эти минуты Мальдориан смотрит на его лицо пристальнее,

чем на кровь, — будто ждёт какого-то знака.

— Ты не плачешь, — сказал однажды старик. Это не был вопрос.

Элдрин заставил себя всхлипнуть. Поздно. Он видел, как в зелёных глазах что-то отметилось и легло на полку.

— Не утруждайся, — сказал Мальдориан, вытирая иглу. — Дети плачут до укола, а не после. Ты плачешь, когда вспоминаешь, что надо. Это интересно. Очень интересно. — Он записал что-то в книгу. — Ты слишком быстро растёшь. Слишком.

Голос был довольный, но под довольством Элдрин расслышал другое. Тревогу. Едва заметную, как трещину на дне кувшина.

* * *

Магию он попробовал в пять с половиной.

Он долго боялся и всё откладывал. В книгах, которые Мальдориан позволял ему листать, магия описывалась сухо, как бухгалтерия: столько-то силы на такое-то действие, столько-то отдыха на восстановление. Но в тех же книгах на полях кто-то — Сайлес? Морвен? — мелким злым почерком приписывал: *ложь. платишь не силой. платишь собой.* А на одной странице, рядом с рисунком сложенных ладоней, тем же почерком: *не верь. они не говорят, потому что не знают. я узнал. поздно.*

Он дождался, пока Нериэль уйдёт наверх, а Мальдориан запрётся во внутренней комнате. Положил на пол щепку. Сел

перед ней. Сосредоточился, как велел человеческий манускрипт: найди тепло под сердцем, раздуй его, как угли, направь через руку.

Под сердцем нашлось другое — холодное, колючее, как мёрзлый гравий, глубоко, глубже рёбер. Он потянулся к нему — и оно отозвалось. Рывком. Как будто он дёрнул за нитку, а нитка была пришита к его венам изнутри.

Щепка вспыхнула ядовито-лиловым пламенем, без дыма, с тихим треском — и пропала начисто. На камне даже пепла не осталось.

Потом его ударило обратной волной. В пальцы, в ладонь. Боль была острой и чужой, будто кто-то вынул из руки что-то живое. На кончиках пальцев, под кожей, проступили прожилки — тёмно-синие, почти чёрные, тонкие, как трещины на старом фарфоре. Он потрогал их. Кожа над ними была холодной и бесчувственной, как у покойника.

Усталость навалилась сразу, такая, что потемнело в глазах. Он лёг прямо там, на холодный камень, и лежал, пока не вернулась Нериэль.

Она увидела его руку и остановилась. Опустилась на колени, повернула ладонь к свету.

— Мертвянка, — сказала она наконец, очень тихо. — Так это называют в Пустошах. Когда магия берёт не силу, а плоть. — Она подняла на него глаза. — Это не уйдёт, Элдрин. Побледнеет — но не уйдёт. Каждый раз, когда ты будешь так колдовать, оно будет расти. К локтю. К плечу. К

сердцу.

— А когда дойдёт до сердца?

— У нас был старик, Морс. Колдовал так всю жизнь, глупый. Когда синее дошло до сердца, он сел у костра и сказал: «Холодно». И всё. Его хоронили, а он был твёрдый, как ледышка, хотя стояло лето.

— Почему у меня так? — Голос у него дрожал. — В книгах написано…

— В книгах написано про тех, у кого магия правильная. — Она сжала его руку в своих ладонях — впервые, крепко. — Твоя искажена. Ритуалом, эликсирами — не знаю. Она не поёт, Элдрин. Она рвёт. Она так же опасна для тебя, как для тех, против кого ты её повернёшь.

Он смотрел на синие прожилки.

— Не говори мастеру.

— Не скажу. Но ты говори мне. Каждый раз. Обещай.

— Обещаю.

— Нет. Не так. — Она не отпускала его руку. — Скажи на нашем языке. На нашем языке нельзя солгать в обещании. Так говорят.

— Это правда?

— Не знаю. Но я хочу в это верить. Скажи.

Он сказал. Слова были певучие и непривычные, и язык путался в них, как ноги в длинной траве. Нериэль кивнула — один раз — и отпустила его.

* * *

Ночью он не спал.

Он лежал за ширмой, смотрел на синие нити под кожей и думал о том, о чём на его месте подумал бы любой, кто годами сводил квартальную отчётность.

Это кредит, думал он. *Обычный кредит, только без договора.*

Сила давалась сразу, вперёд, без вопросов. Как давал Дима: без справок, без поручителей, тридцать процентов в месяц. А расплата шла потом, и платил он телом. Основной долг — то, что у него есть: пальцы, руки, плечи, сердце. Проценты — синее. И никто не назвал ему ставку.

Значит, её надо узнать. Самому. Пока не поздно.

Алексей Дементьев однажды уже подписал договор, не читая. Второй раз он этого делать не собирался.

Утром он стащил у Мальдориана лист, испорченный кляксой, и огрызок свинцового карандаша. Сложил лист вчетверо. На обороте мелко, по-русски — буквами, которых в этом мире не мог прочесть никто, — разлиновал три столбца.

Что сделал. Что получил. Сколько заплатил.

И первую строку:

Щепка. Исчезла целиком, без пепла. Не просил — само. Цена: кончики трёх пальцев, синее до первой фаланги. Отдых: ночь, голова как с похмелья.

Ниже, отдельно, он написал то, что пишут внизу страницы, когда цифр ещё мало, а выводы делать уже надо:

Ставка неизвестна. Не брать, пока не узнаю.

Он спрятал лист в щель за койкой, под расшатанный камень. Потом подумал, достал снова и вывел сверху заголовок. Тоже по-русски. Как на отчётах, которые когда-то сдавал по пятницам, не перечитывая.

Книга расходов.

* * *

Через несколько дней он стоял у стола и смотрел, как Мальдориан растворяет в кислоте эльфийский амулет. Серебряный листок с гравировкой: кто-то принёс его с вылазки, сорвав с шеи мёртвого. Серебро шипело и пузырилось, и старик смотрел на это с тихим, собственническим, почти нежным удовольствием, как смотрят на огонь в собственном очаге.

— Знаешь, что тут написано? — спросил он, не оборачиваясь. — «Пусть корни помнят». Эльфы пишут это на всём. На колыбелях, на мечах, на могилах. Пусть корни помнят. — Он смотрел, как буквы тают в пене. — Корни ничего не помнят, сосудик. Корни жрут. Это я тебе как алхимик говорю.

Потом он поднял глаза и встретился взглядом с Элдрином.

В зелёных глазах стояли только расчёт и голод — голод по знанию, по выходу, по *ключу*.

И мысль, которая давно бродила в голове Алексея Дементьева, оформилась — чёткая и холодная, как формула:

Он растит не ученика. Он растит инструмент. Ключ от собственной клетки. А когда ключ повернётся — его выбро-

сят.

Элдрин опустил глаза, как учила Нериэль. Болтнул ногой, как положено ребёнку.

Значит, думал он, глядя в пол, *я научусь всему, что он может дать. Украду каждую крупицу. Каждую тайну. А потом…*

Он не знал, что потом. Но впервые за обе свои жизни ему хотелось, чтобы это «потом» наступило.

Глава 3. Граф

Рассвет вползал в покои не светом, а серой сыростью, размывая швы между каменными плитами. Замок за стенами спальни дышал глухо: внизу звякнула сбруя сменяющейся стражи, где-то хлопнула дверь, во дворе заржала лошадь, и псарь сипло выругался на собак. Карион открыл глаза, и первым, как всегда в последние годы, пришло тепло.

Живое, медленное тепло, совсем иное, чем тепло перин, шло от женщины рядом и подтачивало вековую мерзлоту его существования, как весенняя вода подтачивает лёд — снизу, незаметно, пока однажды утром река не пойдёт.

Эйлин спала на животе, зарывшись лицом в подушку. Рыжие волосы растеклись по льняной простыне, и рассвет скользил по ним, как по начищенной меди. Покрывало сползло до поясницы, открыв спину: острые лопатки, цепочку позвонков, уходящую в мягкий провал талии, и ни-

же — крутой, властный изгиб бедра. На бледной коже, усыпанной веснушками, как пшеничное поле маком, белели старые шрамы. Неглубокие, поблёкшие. Память о пограничных стычках у Серебряной гряды тридцать один год назад, когда её взяли.

Он помнил её тогда. В рваной коже, в цепях, с разбитой губой, с глазами, полными ненависти и такого чистого, звериного страха, что это было почти прекрасно. Она плюнула в лицо его капитану. Сломала нос стражнику ударом головы. Её привели в этот самый зал связанной, и она молчала три дня. На четвёртый заговорила — на безупречном человеческом языке, с выговором столичного двора, которого не существовало уже двести лет:

— Ты убьёшь меня, граф, или будешь смотреть до старости? Если второе — тебе придётся долго ждать. Я переживу тебя на триста лет.

— Это вряд ли, — ответил он тогда. — Я уже пережил всех, кто так говорил.

— Значит, я буду первой.

Он рассмеялся. Впервые за полвека. Стража у дверей переглянулась так, будто граф при них снял с себя кожу.

— Ты на меня смотришь, — сказала Эйлин в подушку, не открывая глаз. — Я чувствую. У тебя тяжёлый взгляд, Карион. Как ладонь.

— Я смотрю на шрам у тебя под лопаткой. Он был длиннее.

— Он был такой же. Это ты стал хуже видеть. — Она повернула голову, и один зелёный глаз уставился на него сквозь пряди. — Старость, милорд.

Она говорила это часто. Шутила. Она одна в замке смела шутить о его возрасте, и он сам не знал, почему позволяет. Но сегодня шутка легла криво. Вчера вечером, бреясь, он нашёл на виске седой волос. Не один. Три. Через четыре месяца после Кровавой луны. Он вырвал их пинцетом, а потом долго стоял перед зеркалом, держа пинцет, как держат нож, когда не решили ещё, в кого его воткнуть.

Раньше ритуал держал его чистым до следующей луны. Целый год. Сто с лишним лет подряд — год.

— Иди сюда, — сказал он.

— Приказ?

— Просьба.

— Это новое слово в твоих устах. Повтори, я хочу запомнить, как оно звучит.

— Эйлин.

— Вот. Уже лучше.

Она перевернулась на спину — медленно, нарочно медленно, — и покрывало соскользнуло совсем. Рассвет лёг на её тело, как ложится на снег: позолотил край небольшой груди с тёмным, сжавшимся от утреннего холода соском, положил тень в ямку под ключицей, высветил плоский, твёрдый, мускулистый живот, рыжий треугольник ниже, сильные бёдра наездницы. Она окрепла здесь, в неволе. Тело, когда-то

иссушенное походами, пленом и голодом, налилось спокойной силой. Оно было здесь своим. Эта мысль всегда вызывала в нём странную смесь удовлетворения и глухой, почти забытой тревоги — так вызывает тревогу волк, который перестал рваться с цепи и лёг у огня.

— Просьба, — повторила она и улыбнулась уголком рта. — Ты не умеешь просить. У тебя выходит приказ, только тише.

— Тогда научи.

— Тридцать лет учу. — Она провела пальцем по его нижней губе. — Ты плохой ученик, Карион. Ты всё время отвлекаешься на империи.

Она назвала его по имени. Она делала это редко — только здесь, только в эти минуты, и каждый раз он слышал своё имя так, будто его произносят впервые. Он наклонился к ней.

Он никогда не целовал её первым в губы. Это было правило, которое он установил тридцать лет назад и которое она давно разгадала, как разгадывают дурную привычку старика. Сначала шея — там, где под кожей бился пульс, частый, живой, эльфийский, почти вдвое чаще человеческого. Он слушал его губами, как слушают далёкий барабан. Потом ключица. Потом ямка у плеча, где кожа пахла сном и чем-то горьковатым, лесным — можжевельником, мхом, дымом, — тем, что не смывали никакие розовые масла из Эколива. Потом грудь: он взял сосок губами и почувствовал, как она втя-

гивает воздух сквозь зубы, коротко, почти сердито. Она не помогала ему. Лежала и смотрела в потолок, руки вдоль тела, ладонями вниз, — и это было её правило: не отвечать, пока он не попросит по-настоящему.

Он спустился ниже. Живот, где мышцы вздрагивали под его губами, как кожа лошади под мухой. Косточка бедра. Шрам на внутренней стороне, тонкий, длиной в палец, — след эльфийского кинжала, который она когда-то сама себе нанесла на посвящении. Он знал его наизусть. Он знал наизусть всё её тело — каждую веснушку, каждую рябинку, каждый шрам, — лучше, чем знал карты собственного графства. Это тоже пугало его. Карты он учил, потому что было нужно. Её — потому что не мог иначе.

Она приподнялась на локтях и смотрела на него сверху — на его чёрную голову у себя между бёдер, — и в зелёных глазах было что-то тёмное и насмешливое.

— Триста пятьдесят лет, — сказала она хрипло. — И ты всё ещё думаешь, что можешь меня приручить языком.

Отвечать он не стал: рот был занят.

Она продержалась дольше, чем обычно. Он чувствовал, как напрягаются под его ладонями её бёдра, как она сжимает простыню в кулаках, как дрожат мышцы живота. Она кусала губу, чтобы не издать ни звука, — он знал это, не глядя. И только когда она выгнулась, вскрикнув — коротко, яростно, как вскрикивают от удара, — и её пальцы наконец вцепились ему в волосы, резко, почти больно, рванули вверх, к её лицу,

он понял, что попросил по-настоящему.

Она целовала его так, как дерутся. Кусала губы, до вкуса меди во рту. Перевернула его на спину одним движением бедра — воинским, отработанным, тем самым, которым тридцать один год назад сломала нос стражнику, — и оказалась сверху. Посмотрела на него сверху вниз. И в её глазах было то, от чего у трёхсотпятидесятилетнего графа Корвельского перехватило дыхание: власть. Здесь, в этой постели, на эти минуты власть была её. Они оба это знали, и оба делали вид, что не знают, потому что, если сказать это вслух, придётся с этим что-то делать.

Она опустилась на него медленно, мучительно медленно, глядя ему в лицо и не позволяя закрыть глаза.

— Смотри на меня, — сказала она. — Не в потолок. Не в свою голову. На меня.

— Я смотрю.

— Нет. Ты считаешь. Я вижу, как у тебя шевелятся губы. Что ты считаешь, Карион? Мои вздохи? Свои седины? Сколько раз ещё успеешь вот так, прежде чем…

Он сжал её бёдра — сильно, до синяков, — и она засмеялась, низко, гортанно, и задвигалась быстрее, и разговор кончился.

Он держал её за бёдра и чувствовал, как её тепло проходит сквозь него — через кожу, через кости, в то место за грудиной, где триста лет было холодно, как в колодце. Её груди покачивались над ним, рыжие волосы падали ему на лицо,

пахли дымом и потом, и он ловил их губами. Пальцы её спокойно лежали у него на горле, как лежит рука на эфесе. Он знал, что она может сжать. Знал, что в одно из таких утр, может быть, сожмёт. И это знание, вместо того чтобы остудить, разжигало его так, как не разжигало ничто за последние двести лет. Опасность была единственной пряностью, которую ещё различал его старый язык.

Когда она наконец запрокинула голову и выдохнула — длинно, сквозь стиснутые зубы, с дрожью, которая прошла по всему её телу от затылка до пяток, — волосы упали ей на спину, и свет из окна на мгновение сделал их огненными. Он последовал за ней через несколько ударов сердца — молча, как всегда, только пальцы на её бёдрах сжались так, что потом она будет разглядывать синие пятна и усмехаться.

Потом она лежала у него на груди и водила пальцем по его ключице — туда-сюда, как водят по краю кубка, пробуя, запоёт ли. Он смотрел в потолок, на тяжёлые дубовые балки, потемневшие от трёх веков свечного дыма.

Она инструмент, сказал он себе. Привычно, как читают молитву, не вслушиваясь. *Полезный собеседник. Ключ к эльфийским хроникам. Тело для утра. Не более.*

Это была ложь, и он знал это. Цепочка его собственных решений — дать ей доступ в библиотеку, разрешить прогулки в южном саду, оставить ей место за столом совета, позволить учить гаремных девочек грамоте, сменить ей ошейник на тонкий серебряный обруч, который можно было при-

нять за украшение, — складывалась в медленную капитуляцию. Вековое одиночество, оказывается, можно прогнать не только властью, но и присутствием другого существа, которое спит рядом и дышит ровно, и иногда во сне говорит на своём певучем языке слова, которых он не понимает и никогда не попросит перевести.

И однажды — шесть лет назад — он попытался доказать себе обратное.

Эту мысль он, как всегда, оборвал на середине. Там, в конце этой мысли, стояла колыбель из ясеня, выстланная шерстью, и в ней было пусто.

— Ты опять ушёл, — сказала Эйлин.

— Куда?

— Туда, где ты всегда, когда молчишь так. — Она приподнялась на локте. — Туда, куда меня не пускаешь. У тебя там что, вторая жена? Сундук с золотом? Склеп с прежними любовницами?

— Склеп, — сказал он. — Угадала.

— Много их там?

— Хватает.

— И все рыжие?

— Ни одной рыжей. Ты первая.

— Значит, у меня есть шанс не попасть в склеп. — Она смотрела на него с тем выражением, с каким разглядывала незнакомые руны в старых свитках. — Или наоборот. Первая рыжая. Особое место. С табличкой.

— Не шути о склепах, Эйлин.

— Почему? Ты шутишь о моей смерти каждый день. Каждый раз, когда говоришь «моя». — Она коснулась пальцем его виска. Того самого места, где вчера были три седых волоса. Он вырвал их. Но она коснулась ровно там. — Ты стареешь быстрее, — сказала она тихо, без насмешки. — Я вижу. Луна была четыре месяца назад. А у тебя уже здесь, и вот здесь — у глаз. И в бедре что-то хрустит, когда ты встаёшь. Раньше не хрустело.

Он поймал её руку и отвёл от своего лица — мягко и окончательно.

— Не твоё дело.

— Как скажешь. — Она отняла руку. — Знаешь, что самое смешное? Тридцать лет я молилась всем богам моего народа, чтобы ты состарился. Чтобы ты увидел себя в зеркале и испугался. Чтобы узнал, каково это — когда время сильнее тебя. — Она отвернулась и потянула на себя покрывало. — А теперь, когда это случилось, мне не радостно. Мне страшно. Вот и думай, кто из нас в плену.

Он лежал рядом, касаясь её спины плечом, и думал, что в этом замке есть по меньшей мере одно существо, которое видит его насквозь. И что это существо — пленница, которую он мог бы убить одним словом. И что он никогда этого слова не скажет.

Кто кого пленил, подумал он. И, как всегда, не нашёл ответа.

* * *

Одевался он тихо, сам, отослав слугу. Рубаха из тонкого льна цвета пыли. Штаны из плотной мягкой шерсти. Кожаный ремень, вытертый до блеска. Каждая вещь стоила дороже деревни, и каждая была скроена так, будто её шили для монаха. Власть, которая не нуждается в украшениях. Он давно понял, что золото на одежде носят те, кто боится, что иначе их не узнают.

Его узнавали всегда. Даже в темноте. Даже со спины. Однажды, лет сто назад, он переоделся бродячим лудильщиком и прошёл через собственный Корвель от Северных ворот до рыбного рынка — проверить, правду ли доносят. На рыбном рынке старуха, торговавшая угрями, упала перед ним на колени прямо в чешую и завыла. Он спросил её потом, как она узнала. Старуха сказала: «По тому, как вы стоите, милорд. Так стоят только те, кому не надо уступать дорогу».

В личном зале он скинул рубаху и начал упражнения: медленные наклоны, отжимания в ровном ритме, подтягивания на дубовой перекладине. Мышцы разогревались неохотно — неохотнее, чем месяц назад. Он отметил это, как отмечал всё. Потом удары в пустоту: та же связка, что двести лет назад показал ему старый наёмник из Изельмарка, одноглазый, беззубый, с изуродованной рукой и невероятной скоростью. Мастер давно умер. Его внуки давно умерли. Связка осталась. Это было единственное бессмертие, которое Карион признавал честным: бессмертие движения, переходящего из

тела в тело.

Облившись ледяной водой из кадки, он сел на коврик у окна, скрестил ноги и закрыл глаза. Дыхание замедлилось. Мысли — гарнизон, подати, письма из Изельмарка, седые волосы, тонкий хруст в бедре — поднимались и таяли, как дым над остывающим костром. Он не гнал их. Смотрел, как уходят.

Через полчаса внутри что-то щёлкнуло. Он открыл глаза. Мир вернулся чёткими линиями.

Теперь можно было работать.

* * *

В малом зале у ворот его ждали просители. Раз в месяц, в первый день новолуния, граф Корвельский принимал всех, кто дошёл, — так было заведено ещё до того, как замок назвали Грайворном. Обычно дошедших было трое-четверо: остальных разворачивали на дороге стражники, которым тоже нужно было на что-то пить.

Сегодня дошли пятеро.

Первым был староста из Ольшанки — деревни на краю болот, в двух днях пути. Пожилой, широкий, с руками, которые не помещались ни в один карман, и с шапкой, которую он мял так, словно отжимал бельё.

— Ваша милость… — Он упал на колени, но Карион поморщился, и Орвин, стоявший у кресла, сделал едва заметный жест. Старосту подняли. — Ваша милость, мытарь ваш, Хорт, взял с нас вдвое. Два раза приезжал. Один раз по ва-

шему указу, второй — по своему. Сказал, на дорогу. А какая дорога, ваша милость, мы по ней сами ездим. Зерна до весны не хватит. Дети уже кору жуют. Мы не просим простить подать. Мы просим… — он запнулся, — чтобы второй раз — вернули. Хоть половину.

— Хорт здесь? — спросил Карион.

— Здесь, милорд. — Орвин кивнул на дверь. — Его привели вчера. Он не знает зачем.

— Позови.

Хорт вошёл, улыбаясь. Сытый, гладкий, с золотой цепью на шее толщиной в палец. Увидел старосту — и улыбаться перестал.

— Милорд, этот лжец…

— Сколько ты взял с Ольшанки, Хорт?

— По указу, милорд. Восьмую долю.

— А второй раз?

Мытарь облизнул губы.

— Милорд, дороги… разбойники… мне нужно было нанять охрану…

— Сколько?

— Ещё… восьмую.

— Где зерно?

— Продано, милорд. Купцу из Изельмарка. Деньги я… деньги я собирался внести в казну, милорд, просто не успел…

Карион смотрел на него долго. На цепь. На сытые щёки.

На пальцы с перстнями.

— Ты знаешь, Хорт, почему я беру восьмую долю, а не четвёртую, как герцог Изельмарка? — спросил он мягко.

— Нет, милорд.

— Потому что люди, у которых забирают четверть, не доживают до весны. А мёртвые не платят. Я считал. Восьмая — это ровно столько, сколько можно взять, чтобы деревня выжила и через год снова заплатила. Это не милосердие, Хорт. Это арифметика. — Граф встал. — А ты украл у меня следующий год. Ты продал моё будущее зерно человеку из Изельмарка. Ты знаешь, что бывает с теми, кто ворует у меня будущее?

Хорт упал на колени. Цепь звякнула о камень.

— Милорд, я верну! Всё верну! Втрое!

— Вернёшь, — согласился Карион. — Орвин. Его дом — продать. Деньги — старосте Ольшанки, зерном, сегодня же. Цепь — тоже. — Он помолчал. — А самого — повесить на воротах Ольшанки. На той дороге, на которую он собирал. Пусть дети видят, куда ушло их зерно.

— Милорд! — Хорт заверещал, как заяц. — Милорд, у меня дети! Трое! Жена брюхатая!

— У старосты тоже дети. Они жуют кору. — Карион повернулся к старосте, который стоял белый, как стена. — Ты получил, что просил. Ещё что-то?

Староста открыл рот. Закрыл. Потом сказал хрипло:

— Ваша милость, а можно его не на воротах? Бабы наши,

дети — им же каждый день мимо ходить.

— Именно поэтому, — сказал Карион. — Через год у вас будет новый мытарь. И он каждый раз будет проезжать под этими воротами. Я хочу, чтобы он смотрел вверх.

Хорта уволокли. Он кричал до самой лестницы, а потом перестал, потому что стражник ударил его рукоятью меча по зубам.

Вторым был купец из Корвеля, жаловавшийся на соседа. Третьей — вдова, просившая разрешения выйти замуж за мельника из другого прихода. Обоим Карион ответил за минуту. Четвёртым был мальчишка лет двенадцати, сын кузнеца из Чёрной протоки.

— Ваша милость. — Мальчишка остался на ногах: стоял, расставив их пошире, и смотрел прямо, хотя губы у него тряслись. — Отец послал. Сам не мог. У него ног нет.

— Что случилось с ногами?

— Отъели. — Мальчишка сглотнул. — Твари, ваша милость. Из протоки. Пришли ночью. Три. Как собаки, только без шерсти, и глаза на боках. Забрали Мельниковых, всех, и Кривого Тома, и мою сестру. Отец отбивался молотом. Одну убил. Две другие… ноги. Он лежит. Он сказал: пусть граф пришлёт солдат. Мы платим подать. Мы всегда платили.

Карион смотрел на мальчишку. На кулаки, сжатые до белых костяшек. На засохшую чужую кровь на рукаве.

— Как тебя зовут?

— Брен.

— Ты видел, куда они ушли, Брен?

— В воду. Они в воду уходят. И там, в воде… — Мальчишка вдруг замолчал, и Карион увидел, что тот боится сказать.

— Говори.

— Там в воде светится. Ночью. Как будто кто-то лампу держит на дне. Отец говорит, раньше не светилось. Отец говорит, это земля треснула.

Тишина. Орвин посмотрел на графа. Граф смотрел на мальчика.

— Орвин. Десять копейщиков из второй сотни и двух арбалетчиков — в Чёрную протоку. Пусть Громар выберет. И пусть возьмут с собой смолу. Много смолы.

— Смолу, милорд?

— Если в воде светится — значит, светится не в воде. Значит, под водой. — Карион откинулся в кресле. — Протоку засыпать. Деревню — переселить на два дня выше по реке. Дома, которые стоят ближе всего к воде, — сжечь.

— Сжечь? — Мальчишка побледнел. — Ваша милость, там же… это ж наш дом…

— Вашего дома больше нет, Брен. Он стоит на трещине. Через год из этой трещины полезет то, что ест ноги, — не три, а тридцать. Через пять — то, что ест деревни. Я видел это однажды. Мне было меньше, чем тебе. — Граф помолчал. — Твоему отцу дадут серебро на новый дом. И на костыли. Скажи ему: граф помнит, кто платит подать.

Мальчишка стоял, раскрыв рот. Потом поклонился — неуклюже, впервые — и ушёл, утирая нос рукавом.

Пятым был гонец из Изельмарка. В ливрее с серебряной цаплей — гербом старого герцога Отмара. Он передал письмо и долго не уходил, пока Орвин не дал ему понять, что ответа сегодня не будет.

Карион сломал печать прямо в зале. Прочитал. Сложил. Улыбнулся — краешком губ, как улыбаются игроки в кости, когда выпадает нужное число.

— Герцог болен, — сказал он Орвину, не понижая голоса. — Пишет, что зовёт меня на охоту осенью. Что желает «укрепить дружбу двух домов перед лицом общей беды». Под «общей бедой» он имеет в виду голод на востоке. Он ещё не знает, что голод будет хуже, чем он думает.

— Будет хуже, милорд?

— Будет. — Граф встал. — Я об этом позабочусь.

* * *

В кабинете на библиотечной башне его ждали дневники.

Двадцать шесть томов в одинаковых переплётах из тёмной телячьей кожи, исписанных его рукой: сначала детской, корявой, потом юношеской, торопливой, потом той, которой он писал теперь, — мелкой, ровной, без единой помарки. Он вёл их с того дня, когда мир треснул у него на глазах.

Он помнил тот день до сих пор — запахом, сильнее любых слов.

Ему было восемь. Корвель был тогда не городом под зам-

ком, а самостоятельным вольным городом — большим, богатым, с храмом на холме, где сейчас стоял Грайворн. Жрецы храма — он помнил их белые одежды и запах ладана, такой густой, что слезились глаза, — сорок дней готовились к обряду. Говорили: откроют врата, как тысячу лет назад, и боги дадут городу то, что когда-то дали эльфы. Знание. Силу. Вечную жизнь, шептали на рынке. Его отец, торговец сукном, отдал храму половину годового дохода. Мать водила его на площадь смотреть, как жрецы поют. Она держала его за руку. У неё были тёплые, сухие ладони, и она пахла корицей, потому что пекла по праздникам медовые коврижки.

— Мам, а боги какие?

— Добрые, Кари. Добрые и большие.

— Больше дома?

— Больше всего на свете.

— А если они придут, а у нас не прибрано?

Она засмеялась и поцеловала его в макушку.

На сороковой день земля под храмом раскололась.

Он помнил запах серы и мокрой звериной шерсти. Помнил крики, которые обрывались слишком резко, на середине, как обрывается нить. Помнил тварей — вполне определённых, без всякой сказочности: с чешуёй болотного цвета, местами покрытых свалявшейся шерстью, с глазами, в которых был только голод, бесконечный и тупой, как у вши. Одна такая тварь сожрала его мать у него на глазах. Живую. Начав с ног. Тварь прижала её лапой к мостовой, как кошка при-

жимает мышь, и ела, деловито и неторопливо, чавкая, отрываясь только затем, чтобы стряхнуть с морды обрывки юбки. Мать кричала ему: «Беги, Кари, беги!» Кричала, пока тварь не дошла до пояса. Потом кричать перестала, но смотрела на него — и губы её всё шевелились: *беги, беги*. Он стоял: ноги не слушались. Стоял и смотрел, и тварь, доев, повернулась к нему, облизывая длинным серым языком розовые зубы.

Маг Аурен сжёг её в двух шагах от него. Жар опалил Карион брови. От матери остались голова, плечи и рука, всё ещё сжимавшая медную монетку, — она собиралась купить ему коврижку после обряда.

Он не плакал. Ни тогда, ни после. Аурен нашёл его ночью у этой руки — он пытался разжать пальцы, чтобы забрать монетку, а пальцы не разжимались.

— Как тебя зовут?

— Карион.

— Сколько тебе лет?

— Восемь.

— Почему ты не плачешь, Карион?

Мальчик подумал.

— Потому что, если заплачу, не смогу смотреть.

— А зачем тебе смотреть?

— Чтобы запомнить, как они выглядят. Чтобы потом убить. Всех.

Маг долго молчал. Потом положил ему на плечо тяжёлую обожжённую ладонь.

— В тебе есть стержень, — сказал он. — Пойдём. Я научу тебя, как убивать их всех. Но это будет долго. Дольше, чем ты думаешь.

Армия вольного города рассыпалась за месяц, и съели её дезертиры, а не бои. Солдаты боялись того, что будет после смерти: того, во что превращались тела укушенных. Аурен и ещё одиннадцать магов закрыли разлом. Из двенадцати выжили трое. Половина города лежала в руинах. А на холме, где был храм, осталась трещина, тонкая, длиной в руку, которую никто не смог закрыть до конца. Шов.

Аурен взял мальчика к себе. И начал поить его отварами из костного мозга убитых тварей.

Что это опыт, Карион узнал позже, из записей, найденных после смерти учителя. Маг хотел понять, что делает с человеком сила из-за грани. Он записывал всё: как мальчик рос, как заживали раны, как в двадцать перестали появляться новые морщины. Как в сорок он выглядел на двадцать. В шестьдесят — тоже. Как в восемьдесят на лице впервые появилась морщина. И как Аурен, уже дряхлый, нашёл способ её стереть.

Колыбели. Нити. Кровь тех, в ком нет ещё ничего, кроме жизни.

— Это мерзость, — сказал ему тогда Карион, восьмидесятилетний юноша с лицом двадцатилетнего. Они стояли над первой колыбелью. Колыбель была одна. — Ты сошёл с ума, старик.

— Да, — согласился Аурен. — Я сошёл с ума. Шестьдесят лет назад, когда лёг грудью на трещину и понял, что, если встану, трещина откроется. Я с тех пор не встаю, мальчик. Я сплю по часу в сутки. Я стал камнем по пояс. Посмотри. — Он поднял подол мантии. Ноги учителя были серыми, гладкими, неподвижными, как ноги статуи. — Ещё десять лет, и я стану камнем весь. А когда я стану камнем, кто-то должен будет держать дверь. Ты — единственный, кто может. В тебе её сила. Ты её родственник, мальчик. Ты пил её шестьдесят лет. Но тебе нужно не стареть. Иначе ты умрёшь, как все, и дверь откроется.

— А дети?

— Дети — цена. — Аурен говорил ровно, как учил его когда-то таблице умножения. — Одна колыбель в год. Один ребёнок. Чтобы в городе не умерли сто тысяч. Ты счетовод, Карион? Нет. Я тоже нет. Но даже нищий на паперти сочтёт эту сумму.

Аурен умер, когда Кариону было девяносто. Он стал камнем целиком, сидя у колодца во дворе, и последние его слова были:

— Ритуал держит не только тебя. Он пьёт из Шва. Пока он пьёт — Шов стянут. Перестанешь — разойдётся. И не только здесь. Все швы мира связаны, как нити в ковре. Дёрнешь одну…

Карион тогда не поверил. Решил, что старик оправдывается. Потом были двести шестьдесят лет, и одна колыбель

стала тремя, потом шестью, потом двенадцатью, потому что одного ребёнка хватало всё меньше. Был Орден стражей разлома, который он основал и который выродился в жадную касту, считавшую жертвы мешками зерна. Была Резня — он участвовал в ней первые годы, жёг Серебряные леса, вешал эльфов на тех самых крюках, что до сих пор торчат из стены Корвеля, — пока не понял, что люди режут собственное будущее, и что вместе с эльфами уходит знание о том, как зашивать швы. Он вышел из Ордена. Орден сгнил без него. Остались руины. Остался он — живой архив той тихой будничной жестокости, на которой держался мир.

Большинство людей Фобиаса пахали землю, не зная, что пашут братские могилы. Строили дома на костях тех, кого сбросили в ямы, чтобы остальные спали спокойно. Он знал. Знание было его проклятием и его оправданием. Он знал истинную цену тишины за окном — в крови, костях и пепле.

И цена росла.

Он открыл двадцать шестой том на странице, исписанной колонками цифр. Год за годом: сколько месяцев ритуал держал его чистым. Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать — сто с лишним лет подряд. А шесть лет назад — одиннадцать. Потом десять. Потом девять. В этом году — восемь, и это была его собственная, оптимистичная оценка. Седые волосы говорили — семь.

Рядом, во второй колонке, — другие цифры. Донесения из провинций. Твари у Чёрной протоки — впервые за тридцать

лет. Чума в двух деревнях на юге — неизвестная, с мокрыми язвами, от которых кожа сходит лоскутами. Пропавшие караваны у Нигмара. Странные вести с Хребта: горы, говорили пастухи, *двигаются*. Он дописал сегодняшнее: *Чёрная протока — свечение под водой. Трое тварей. Глаза на боках. Деревня — переселить, ближние дома — сжечь, протоку засыпать.*

Две колонки. И они росли вместе.

Аурен был прав, подумал он. Мысль была холодной и ясной, как вода в зимнем колодце. *Ритуал слабеет — швы расходятся. Я — замок на двери. И замок ржавеет.*

А ниже, на той же странице, совсем мелко, он написал то, чего не писал прежде ни разу:

Одного замка мало. Нужна стена.

Он смотрел на эту строчку долго. Потом посыпал её песком, чтобы не размазалась.

В дверь постучали. Коротко, дважды. Так стучал только один человек.

— Войди, Орвин.

Управляющий вошёл бесшумно, как всегда. Высокий, худой, с гладко выбритым черепом и лицом, на котором никогда ничего не отражалось. Евнух. Карион купил его сорок лет назад на рынке в Агоноре — мальчишкой, умным, злым, с выжженным на плече чужим клеймом. Через десять лет Орвин знал о замке больше самого графа. Через двадцать стал единственным человеком, которому Карион доверял. При-

чина была проще верности: Орвину некуда было идти. Это надёжнее. Верность — это чувство. Некуда идти — это география.

— Милорд. — Орвин остановился у стола, не глядя на раскрытый дневник. — Повитухи закончили осмотр восточного крыла.

— И?

— Из девяти беременных у пяти дети слабые. Сердцебиение тихое. Повитуха Марта говорит, такие рождаются живыми, но… пустыми. Это её слово. «Пустыми». Она плакала, когда говорила. Я велел дать ей вина.

Карион медленно закрыл дневник.

— Пять из девяти.

— В прошлом году было три из одиннадцати. В позапрошлом — два.

— Причина?

— Повитуха не знает. Мальдориан говорит: порча крови, вырождение породы. Предлагает привезти свежих эльфиек из Эколива. — Пауза, едва заметная. — Я так не думаю, милорд.

— А что думаешь ты?

Орвин поднял глаза. Серые и плоские, как речная галька.

— Я думаю, кто-то в восточном крыле знает травы лучше повитухи.

Тишина. Карион смотрел на него. Потом в окно, за которым серел рассвет.

— Кто?

— Пока не знаю. Узнаю.

— Узнай. Тихо. — Граф помолчал. — Если это правда, мне нужна живой та, кто это делает. Живой и способной говорить. Я хочу понять, как она это делает. И сколько ещё знает.

— А потом, милорд?

— Потом посмотрим. Возможно, я дам ей место повитухи. Человек, который умеет убивать нерождённых, умеет и спасать их. Это одно ремесло, Орвин. Только руки повёрнуты по-разному.

Орвин склонил голову и остался стоять.

— Что ещё?

— Гонец из Изельмарка, милорд. Он кое-что сказал моему человеку на кухне. За кружкой. Что герцог Отмар не болен. Что его травят. Медленно. Свинцовым сахаром в вине. И что травит — младшая невестка.

— Ивелин? — Граф поднял бровь.

— Вдова его старшего сына, милорд. Говорят, её муж утонул на охоте. Говорят, ему помогли. Говорят, она хочет, чтобы следующим герцогом стал её сын, которому девять, а регентом — она.

Карион улыбнулся снова, второй раз за утро. Орвин запомнил это: он запоминал, сколько раз граф улыбается, и по этому счёту судил о погоде в замке точнее, чем по небу.

— Пригласи её на осеннюю охоту, — сказал Карион. —

От моего имени. Вместе со свёкром. И передай на словах: граф Корвельский восхищён её заботой о здоровье герцога.

— Она поймёт, милорд.

— На то и расчёт. Умные женщины всегда понимают раньше, чем им скажут. Это экономит время. — Граф снова открыл дневник. — И, Орвин. Колдун давно не показывал мне своего подкидыша. Того эльфёнка из подвала.

— Мальчику шесть. Здоров. Учится. Нериэль при нём, как вы велели.

— Нериэль. — Карион повторил имя, будто пробуя его на вкус. — Старшая в восточном крыле. Знает травы.

Орвин промолчал. Он умел молчать так, что молчание звучало как ответ.

— Иди, — сказал граф.

* * *

Он спустился в подвал после полудня. Без свиты, без предупреждения — так он делал раз в год или два, и Мальдориан всегда был готов: колдун тоже был не дурак и держал на лестнице слугу-эльфа, который слышал шаги за два пролёта.

Лаборатория встретила его привычным смрадом. Карион не морщился. Он вырос в смраде. Колдун вышел из-за стеллажа, вытирая руки о кожаный фартук, и поклонился ровно настолько, насколько требовалось.

— Милорд. Чем обязан?

— Хочу посмотреть, на что уходят мои деньги.

— На то же, что всегда. На вашу молодость. — Мальдо-

риан улыбнулся. — Эликсир к луне будет готов через пять месяцев. Состав усилен. Я добавил вытяжку из…

— Ты добавлял вытяжки шесть лет подряд. — Карион говорил ровно. — А я теряю по месяцу в год. Твои вытяжки, колдун, похожи на заплатки на парусе, который гниёт изнутри.

— Я ищу причину, милорд.

— Ищи быстрее. — Граф подошёл к столу, где на доске была распята летучая тварь с перепончатыми крыльями и человеческими, почти человеческими зубами. Тварь была ещё жива. Она смотрела на графа одним глазом, и в этом глазу была бесконечная, безмолвная ненависть. — Откуда?

— С Хребта, милорд. Пастухи поймали в сеть. Таких не было лет сто.

— Что ты в ней ищешь?

— Её кровь отличается от крови тварей из Шва. Она… свежее. Как будто её выпустили из другой двери.

Граф долго смотрел на тварь.

— Из другой двери, — повторил он. — Значит, их стало больше. Дверей.

— Возможно, милорд.

— Ты говоришь «возможно», когда знаешь «да». Я это давно заметил, Мальдориан. Это твоя единственная честная привычка. — Он отвернулся от стола. — Где мальчик?

Колдун помедлил — так коротко, что заметить это мог только человек, который триста лет учился замечать паузы.

— За ширмой, милорд. Читает.

Карион обошёл ширму.

Ребёнок сидел на низкой скамье у стены, поджав ноги, с книгой на коленях. Худой, бледный, в простой тёмной рубашке. Пепельные волосы падали на лоб. При виде графа он вскочил, уронил книгу и низко поклонился, опустив глаза в пол. Правильно. Слишком правильно для шестилетнего.

— Подними голову.

Мальчик поднял. И граф увидел его глаза.

Серо-голубые. Светлые. Почти прозрачные.

Что-то дрогнуло у Кариона внутри — далеко, глубоко, там, куда он не пускал даже Эйлин. Так дрожит струна, когда рядом ударили по другой, настроенной в унисон. Он смотрел на мальчика, и мальчик смотрел на него прямо, хотя должен был опустить глаза. Так дети не смотрят. Во взгляде было внимание — холодное, взрослое, изучающее, будто ребёнок записывал его лицо в книгу внутри себя.

— Как тебя зовут?

— Элдрин, милорд. — Голос был тихим, детским, правильным.

— Откуда ты?

— Не знаю, милорд. Мастер говорит, меня нашли в деревне.

— В какой?

— Не знаю, милорд.

— Ты боишься меня?

— Да, милорд.

— Почему?

— Все боятся, милорд. Я подумал, что мне тоже надо.

Карион едва не рассмеялся. Уши — чуть заострённые. Полукровка. Таких рождалось много: эльфийки из гаремов бегали, их ловили, они рожали в лесах от кого придётся. Ничего необычного.

— Что читаешь?

Мальчик поднял книгу и протянул обеими руками. «О свёртывании крови и её свойствах в живом и мёртвом теле». Трактат Сайлеса. Карион читал его двести лет назад, в ночь, когда умер Аурен, — чтобы не думать.

— Тебе шесть лет.

— Да, милорд.

— И ты это понимаешь?

Пауза — на волос длиннее, чем нужно.

— Нет, милорд. Я смотрю картинки.

Ложь. Карион слышал её так же отчётливо, как скрип половиц. Мальчик лгал спокойно, гладко, без тени смущения. Так лгут придворные. Так лгал он сам — в восемь лет, Аурену, когда тот спросил, не страшно ли ему по ночам.

Граф открыл книгу на середине. Там была гравюра: вскрытое предплечье, жилы, подписи.

— Что здесь нарисовано?

— Рука, милорд.

— А это? — Он ткнул пальцем в тонкую линию.

Мальчик посмотрел. И Карион увидел, как за светлыми глазами что-то быстро, очень быстро взвешивает: сказать или не сказать.

— Червячок, милорд.

— Это вена, — сказал Карион. — Через неё уходит жизнь. Запомни.

— Да, милорд.

Граф вернул книгу. Посмотрел на Мальдориана, который стоял у ширмы, сложив руки на фартуке.

— Хороший подкидыш.

— Способный, милорд.

— Слишком.

— Эликсиры, милорд. Я ускоряю рост. Вы сами одобрили опыт.

— Одобрил. — Граф помолчал. — Через год пусть его учат мечу. Подмастерье колдуна, который не умеет держать клинок, — бесполезная вещь. Пусть Громар выделит кого-нибудь.

— Как прикажете.

Карион ушёл. На лестнице остановился, держась рукой за холодную стену, и постоял, сам не зная почему. Струна внутри всё ещё звенела, тонко, на грани слышимости.

Светлые глаза, подумал он. *Мало ли у кого светлые глаза.*

И пошёл наверх.

* * *

За ужином Эйлин сказала, не поднимая глаз от тарелки:

— Говорят, ты спускался к колдуну.

— Говорят многое.

— Говорят, ты велел повесить мытаря на воротах в Ольшанке.

— Говорят верно.

— И сжечь деревню у Чёрной протоки.

— Не всю. Ближние дома.

— С людьми?

— Без. — Он отпил вина. — Людей переселят. Ты считаешь меня чудовищем, Эйлин, а я сегодня спас две деревни.

— Одну ты спас, повесив отца троих детей. Вторую — спалив. — Она резала мясо мелко, аккуратно, как режут для ребёнка. — Знаешь, в чём твоя беда, Карион? Ты всегда прав. Ты всегда спасаешь. И после каждого твоего спасения кто-то висит или горит.

— А ты бы что сделала?

— Не знаю. — Она подняла глаза. — Правда не знаю. Может быть, то же самое. Это и злит.

— Говорят, у колдуна живёт эльфийский мальчик, — сказала она, снова опустив глаза. — Подкидыш. Девочки рассказывают, что он умный, как старик, и бледный, как лунный свет.

— Девочкам стоит меньше болтать.

— Я хочу его увидеть.

Карион поставил кубок. Медленно. Очень аккуратно, что-

бы не стукнуть.

— Зачем?

— Затем, что в этом замке нет ни одного эльфийского ребёнка старше месяца. — Она подняла глаза, и в них было то, чего он не хотел видеть. — Ни одного, Карион. Только этот. Я хочу посмотреть, как выглядит эльфийский ребёнок, который вырос.

— Нет.

— Почему?

— Потому что я сказал «нет».

— Это не причина. Это забор. — Она отложила нож. — Чего ты боишься? Что я его украду? Что научу его песням моего народа? Что расскажу ему, кто убил его мать и отца, кем бы они ни были? Он же подкидыш. Ничей. Какая тебе разница?

— Эйлин.

— Или ты боишься, что я посмотрю на него и вспомню, что у меня тоже мог бы…

— Хватит.

Он сказал это тихо. Но в зале стало так тихо, что слышно было, как в камине лопнуло полено, и слуга у буфета замер с кувшином в руках, как замирает заяц.

Эйлин смотрела на него долго. Потом опустила глаза и снова взялась за нож.

— Как скажешь, милорд.

«Милорд» вместо «Карион». Он понял. Она поняла, что

он понял. Ужин они закончили в тишине.

* * *

Ночью он остался у себя.

Он стоял у окна библиотечной башни и смотрел на луну — тонкий серп, далёкий ещё от того, чтобы налиться кровью. До ритуала оставалось пять месяцев.

Двенадцать колыбелей. Двенадцать нитей. Одна из них шесть лет назад была пустой.

Он помнил, как пальцы сжали обсидиан, когда колдун сказал «мертворождённый». Помнил, как подумал: *хорошо. Значит, я смог. Значит, она ничто.* Помнил, как утром вышел к завтраку весёлым и злым и велел высечь конюха — до мяса, хотя жеребец был вычищен прекрасно. Помнил, как Эйлин три месяца не выходила из покоев, и как он стоял у её двери ночами и не стучал, и как потом перестал приходить к ней ночью совсем — приходил только днём, при свете, как приходят по делу. Он помнил это лучше, чем лицо собственной матери. Лицо матери за триста лет стёрлось, осталась только рука с медной монетой. А это не стиралось.

А на четвёртый год она пришла к нему сама. Ночью. Молча. Легла рядом, отвернулась к стене и уснула. И он лежал до утра без сна, боясь пошевелиться, как боятся пошевелиться рядом с птицей, севшей на руку.

Она не знала. Она никогда не узнает. Он унесёт это с собой — туда, куда уносят такие вещи люди, которые живут слишком долго.

Светлые глаза, снова подумал он. И снова отогнал мысль.

Дверь за спиной открылась без стука.

Он остался стоять лицом к окну. Без стука к нему входил только один человек в замке.

— Ты не пришёл, — сказала Эйлин.

— Ты сказала «милорд».

— А ты сказал «хватит». — Она подошла и встала рядом, у окна, в одной сорочке, босая на ледяном камне. Плечи её покрылись мурашками. — Мы оба сказали то, что не хотели. Это называется ссора, Карион. У людей так бывает. Я читала.

— У людей.

— У людей. У эльфов тоже. Мы ссоримся реже, но дольше. Лет по двадцать. — Она смотрела на луну. — Я не хочу двадцать лет. У тебя их, кажется, уже нет.

Он повернулся к ней.

Она стояла в лунном свете, и сорочка просвечивала насквозь, и под ней было видно всё: тёмные кружки сосков, линию живота, тень между бёдрами. Прикрываться она и не думала. Она смотрела ему в лицо — снизу вверх, потому что была ниже на полголовы, — и в глазах её стоял вызов. Такой же, как тридцать один год назад, когда её привели связанной.

— Ты пришла мириться? — спросил он.

— Я пришла, потому что мне холодно, — сказала она. — У вас в замке даже летом холодно. Это единственное, что ты за триста лет не смог исправить.

Он взял её за подбородок. Поднял её лицо. И — в первый

раз за тридцать лет — поцеловал первым в губы.

Она замерла. Он почувствовал, как она замерла: всем телом, как замирает лань, услышав треск ветки. Потом её губы раскрылись под его губами, медленно, и она ответила — глубоко и тихо, совсем иначе, чем утром, так, что у него закружилась голова, как не кружилась от вина.

— Что это было? — спросила она, когда он отпустил её. Голос у неё сел.

— Не знаю.

— Ты нарушил своё правило.

— У меня их слишком много. Одним меньше.

Она смотрела на него, и он видел, что она пытается понять — и не может, и злится на это, и не может перестать смотреть.

— Ты пугаешь меня, когда так делаешь, — сказала она.

— Тогда мы квиты.

Он поднял её на руки — легко, как поднимал когда-то знамёна, — и отнёс к низкой кушетке у камина, где ещё тлели угли. Сорочку она сняла сама, через голову, одним движением, и бросила на пол. В красном свете углей её кожа казалась медной, и веснушки — тёмными, как ржавчина, и шрамы — серебряными. Он раздевался медленно, и она смотрела на него, лёжа, подперев голову рукой, — разглядывала, как разглядывают коня на ярмарке, без стеснения, с откровенной, почти мужской оценкой.

— Ты похудел, — сказала она. — Здесь. И вот здесь. Рань-

ше тут было больше мяса.

— Ты всегда говоришь мне о старости в постели.

— Потому что в постели ты не можешь уйти. — Она протянула руку и провела ладонью по его бедру, медленно, вверх. — Иди сюда, старик. Покажи, что ещё умеешь.

На этот раз было иначе. Медленнее. Тише. Она лежала под ним, обхватив его ногами, и он двигался в ней долго, не торопясь, глядя ей в глаза, и она не отводила взгляда — впервые за все годы не отводила, — и в её глазах он видел своё отражение, маленькое, тёмное, в двух зелёных колодцах. Угли потрескивали. Где-то на стене перекликались часовые. Её пальцы скользили по его спине, по старым шрамам, которых у него было больше, чем у неё, — шрамам от когтей, от мечей, от огня, — и задерживались на каждом, будто она читала их, как свитки. Когда она кончила, то заплакала — беззвучно, слёзы просто текли из уголков глаз в рыжие волосы на висках, — и он остановился, испуганный, а она сжала его ногами крепче и прошептала:

— Не останавливайся. Не смей. Это не от боли.

— Тогда от чего?

— Не знаю. Не спрашивай. Ты всегда спрашиваешь. Просто… не останавливайся.

Он продолжал.

Потом они лежали на узкой кушетке, тесно, потому что иначе не помещались, и её голова была у него на плече, и угли догорали. Он смотрел в потолок и чувствовал, как её

дыхание становится ровным и медленным.

— Карион, — сказала она сонно.

— Да.

— Если бы у нас был ребёнок… — Она замолчала. — Нет. Ничего.

— Скажи.

— Если бы у нас был ребёнок, — повторила она, не открывая глаз, — я бы научила его ездить верхом без седла. Как у нас в Пустошах. И стрелять из лука на скаку. И петь. Я хорошо пою, ты не знаешь. Я никогда не пела при тебе. А ты бы научил его чему?

Карион смотрел в потолок.

— Считать, — сказал он наконец.

— Это скучно.

— Это важно.

— Всё у тебя важно. — Она улыбнулась, почти уже во сне. — А что-нибудь, что просто хорошо? Не важно, а хорошо? Ты бы научил его чему-нибудь хорошему?

Он долго молчал. Так долго, что она уснула, не дождавшись ответа.

— Не бояться, — сказал он тихо, в темноту. — Я бы научил его не бояться. Меня этому не научили. Пришлось самому. Это заняло триста лет.

Эйлин спала. Её дыхание щекотало ему шею.

Карион лежал без сна до рассвета, глядя на угли, и думал о мальчике со светлыми глазами в подвале, о пустой колыбели,

о трещине под водой у Чёрной протоки и о строчке, которую он сегодня впервые написал в дневнике.

Одного замка мало. Нужна стена.

Внизу, во дворе, кто-то засмеялся. Стражник. Обычный человеческий смех, грубый, живой. Карион слушал его, пока он не затих.

В темноте кабинета, на столе, лежал раскрытый дневник. Две колонки цифр. И обе росли.

Глава 4. Сталь

— Граф велел учить его мечу, — сказала Нериэль. — Значит, будут учить. Вопрос — кто.

Мальдориан смотрел в колбу. Синяя жидкость в колбе пузырилась, как живая, и он держал её над огнём щипцами, беззвучно шевеля губами.

— Громар выделит какого-нибудь болвана из казарм, — сказал он. — Тот поставит мальчика в стойку, будет орать и бить палкой по пальцам. Через год мальчик научится держать деревяшку и ненавидеть людей. Меня устраивает и то и другое.

— Меня — нет.

Колдун всё-таки поднял глаза. Нериэль стояла у стола, прямая, в сером рабочем платье, руки сложены на животе, и смотрела спокойно. Элдрин сидел за ширмой на своей скамье, затаив дыхание.

— Тебя, — повторил Мальдориан с интересом. — А тебя кто спрашивал, золотая?

— Никто, — ровно ответила она. — Но если болван из казарм сломает мальчику пальцы, ты потеряешь руки, которые держат иглу. Ты сам говорил. Шесть лет работы.

— И кого ты предлагаешь?

— Сайруса. Рыцаря второй сотни.

— Сайруса. — Колдун отставил колбу. — Того, что вернулся с драконьей охоты? Двадцать ушли, девять вернулись. Этого?

— Этого.

— Почему?

— Потому что он умеет учить и при этом не ломать. — Она чуть помедлила. — И потому что он не болтает.

— Все рыцари болтают, золотая. За кружкой, в бане, во сне. Я лечил половину гарнизона, я знаю, что они кричат, когда им вправляют кости. — Мальдориан прищурился, как кот, заметивший шевеление в траве. — А этот, значит, не болтает. Откуда ты знаешь?

— Он лечился у тебя. Три раза. Ты сам мне рассказывал, что он даже не стонет.

— Верно. — Колдун хмыкнул. — Не стонет. Лежит и смотрит в потолок, как покойник на собственных поминках. Ладно. Сайрус так Сайрус. Но если мальчик вернётся с поломанными пальцами — пальцы сломают тебе. Все десять. По одному в день.

— Справедливо, — сказала Нериэль.

Она вышла. Мальдориан проводил её взглядом, потом посмотрел на ширму. Элдрин успел уткнуться в книгу.

— Ты слышал, — сказал колдун утвердительно.

— Да, мастер.

— Тогда ты понял, что она сейчас сделала?

Элдрин молчал. Он всё понял: слова Нериэль были правдой, ложью была причина. Он слышал, как изменился её голос на имени. Совсем чуть-чуть. Так меняется звук струны, когда её едва подтянешь колком.

— Нет, мастер.

Мальдориан хмыкнул и вернулся к колбе.

— Врёшь ты хорошо, — сказал он, не оборачиваясь. — Это полезно. Только не мне. Мне можешь не врать — я всё равно знаю. Мне просто интересно, когда ты сам начнёшь знать, что знаешь.

* * *

Нериэль повела его наверх кружным путём — через кладовые, через пустую башню с обвалившейся лестницей, через галерею, куда не ходили слуги, потому что там, говорили, по ночам плакал мёртвый виночерпий, утопленный в бочке за то, что разбавил графу вино. Она хотела, чтобы мальчик увидел.

На верхней площадке старой башни было узкое окно-бойница без стекла. Ветер свистел в нём, как в дудке. Элдрин встал на цыпочки, вцепился пальцами в холодный камень и

выглянул.

Внизу лежал мир.

Он видел его на картах сотни раз, но карта и мир оказались разными вещами, как рецепт и еда. Зелёные холмы уходили к горизонту волнами. Рощи. Дорога серой лентой. Справа — Корвель: лачуги и дома, налепленные друг на друга, как соты в разорённом улье, черепица и солома, дым сотни труб, шпиль нового храма на дальнем холме, подальше от замка. Рынок — пёстрое пятно, гудящее даже отсюда. Река с горбатым мостом. Стена вокруг города, низкая, в проломах, как челюсть старика.

А прямо под замком, на плоском лугу у ворот, стояла виселица.

Длинная перекладина на шести столбах, и на ней висели люди. Пятеро. Издалека они казались тряпичными куклами, которые неряшливый ребёнок повесил сушиться. Ветер покачивал их, и они медленно поворачивались — то лицом к замку, то спиной. Над ними кружили вороны, садились на перекладину, переступали с лапы на лапу, примеривались. Одна фигура была меньше других. Элдрин смотрел на неё и не мог отвести глаз.

Рядом с виселицей складывали хворост. Высокой горой, вокруг толстого столба.

— Это для праздника, — сказала Нериэль за его спиной. — Через неделю. Урожай.

— А эти?

— Воры. Один дезертир. Одна женщина — продала гнилое зерно. Маленький — её сын. Помогал носить мешки.

— Ему сколько было?

— Десять. Может, одиннадцать. Он кричал, что не знал, что зерно гнилое. Наверное, правда не знал.

— И его всё равно повесили?

— Закон говорит: кто носил, тот и продавал. — Нериэль смотрела на него. — Закон здесь писали люди, которые сами никогда ничего не носили.

Элдрин опустил пятки на пол. Ноги не держали.

За городом начинался лес — тёмный, почти чёрный, плотный, как стена. Даже отсюда было видно, что небо над ним пустое, без единой птицы.

— Туда не ходят, — сказала Нериэль, проследив его взгляд. — Почти никогда. Но когда-нибудь тебе придётся. Всем, кто здесь вырос, приходится.

— Почему?

— Потому что больше некуда.

Она взяла его за руку и повела вниз.

* * *

Тренировочный зал был в нижней части замка, рядом с кузницей и складами. Старый, затхлый, с высокими узкими окнами под потолком, сквозь которые падали косые полосы пыльного света. Стены были иссечены зарубками — тысячи отметин, оставленных клинками за сотни лет; кто-то в углу вырезал женщину с огромной грудью, и её давно никто не

стёсывал, потому что каждый новый оруженосец считал своим долгом её подновить. Пол — утоптанная земля, присыпанная опилками. Пахло потом, железом, кожей и мышами.

Рыцарь ждал у стойки с деревянными мечами.

Высокий, широкий, с обветренной кожей и шрамами — на руках, на шее, один через бровь, белый и тонкий, как нитка. Тёмные волосы коротко острижены. Борода, явно подрезанная ножом, без зеркала. Вместо доспехов — кожаная куртка, вытертая до лоска. Глаза серые, тяжёлые, усталые. Но когда вошла Нериэль, что-то в этих глазах сдвинулось. Едва-едва, как сдвигается ставня от сквозняка. Элдрин заметил.

— Сайрус, — сказала Нериэль. — Это Элдрин.

Рыцарь смотрел на мальчика долго, оценивающе, как смотрят на жеребёнка на ярмарке.

— Тощий.

— Он растёт.

— Вижу. Вверх. — Сайрус присел на корточки, оказавшись с Элдрином вровень. Вблизи глаза у него оказались серыми с тёмным ободком вокруг радужки, как у волка. — Ты знаешь, зачем ты здесь?

— Граф велел учить меня мечу.

— Граф велел. — Рыцарь кивнул. — А сам? Хочешь?

Вопрос застал Элдрина врасплох. В замке его никто никогда не спрашивал, чего он хочет. Он посмотрел на Нериэль. Та стояла у стены, скрестив руки, и молчала: выбирай сам.

— Хочу.

— Зачем?

Он подумал. Честно — потому что серые глаза напротив ждали честного ответа, и он чувствовал, что другой здесь не примут.

— Чтобы меня нельзя было просто унести.

Сайрус молчал долго. Потом встал, взял со стойки деревянный меч — маленький, детский, со стёртой до гладкости рукоятью — и протянул ему.

— Хороший ответ. Лучше, чем у меня в твои годы. Я сказал, что хочу стать рыцарем, чтобы на меня девки смотрели. Наставник дал мне в ухо. Держи. Не так. Большой палец сюда. Мизинец не отставляй, ты не наливку пьёшь у графини. Вот. Теперь он твой. Не ронять. Никогда. Уронил меч — ты мёртв. Понял?

— Понял.

— Не понял. Поймёшь через месяц. — Рыцарь отошёл на два шага и взял свой меч, тоже деревянный, но взрослый, тяжёлый. — Чей это меч был, знаешь?

— Нет.

— Мальчишки по имени Лейф. Сын конюха. Учился здесь пять лет назад. Хороший был. Быстрый.

— Где он теперь?

— Сгорел. На празднике урожая. Его отец украл мешок овса, чтобы кормить кобылу, у которой молоко пропало, а жеребёнок без молока сдох бы. Отца — на столб. Лейф встал

перед жрецом и сказал: «Меня берите, я вызываюсь». За то, чтобы с семьи год не брали подать. — Сайрус говорил ровно, как рассказывают, где брать сено. — Ему было тринадцать. Он даже не кричал. Почти. Держи его меч крепче, малый. Он заслужил, чтобы его кто-то держал.

Элдрин смотрел на гладкую рукоять, отполированную чужой ладонью.

— Меч — не палка, — продолжил Сайрус. — И не украшение. Это продолжение руки. Воли. Если ты его не уважаешь, он тебя убьёт. Не враг — меч. Сломает запястье, порежет ногу, вывернется в бою. Он чувствует, когда ты его боишься.

— Он деревянный.

— Деревянный тоже чувствует. — Уголок рта дрогнул. — Встань. Ноги на ширину плеч. Колени мягкие. Спина ровно. Ты не мешок с репой, ты воин. Смотри на меня. Не на меч. На меня.

Первый урок длился три часа. Элдрин не помнил потом, как дошёл до своей каморки. Рухнул на койку и лежал, глядя в потолок, и каждая мышца — каждая, даже те, о которых он не подозревал, — горела.

Он вспомнил своё старое тело. Одышку на третьем этаже. Спину, которая ныла от кресла. За тридцать шесть лет он ни разу не довёл себя до такой усталости.

Он лежал и улыбался в темноте.

* * *

Учёба шла три года.

Утро — Мальдориан, лаборатория, книги, кровь из вены, эликсиры. Он чистил колбы, сортировал коренья, помогал вскрывать тварей из лесов: визжащих нетопырей с гнилыми зубами, пауков размером с собаку и с почти человеческими лицами, болотных уродцев, покрытых нарывами, которые лопались ядовитым гноем и прожигали фартук. Он научился держать скальпель раньше, чем меч. Научился находить сердце у тварей, у которых их было два. Научился не блевать. Последнее далось труднее всего.

— У этого, — сказал однажды Мальдориан, раскрывая грудную клетку болотной твари, похожей на младенца с жабьей кожей, — лёгкие на спине. Видишь? Поэтому они долго не тонут. Запомни. Если когда-нибудь будешь драться с таким в воде — бей не в грудь. В спину. Между лопаток. Он захлебнётся собственной кровью раньше, чем поймёт, что ранен.

— Зачем мне драться с ними в воде, мастер?

— Затем, что ты всё равно будешь, — сказал колдун. — Все, кого я учил, рано или поздно оказывались в воде. Это какое-то проклятие.

Иногда спускались раненые: стражники, слуги с ожогами, кузнецы с размозжёнными пальцами. Он мыл раны, прижигал, перевязывал культи. Однажды гном-кузнец Торбин, чью руку он спас от гангрены, вычищая гной два часа подряд, пока колдун был наверху, сказал, разглядывая чистую повязку:

— Ты, малый, далеко пойдёшь. Если тебя раньше не съедят. — Он пошевелил опухшими пальцами. — Знаешь, сколько человеческих лекарей у меня было за сто сорок лет? Девять. Восемь хотели отрезать. Ты первый, кто вычищал. Почему?

— Потому что резать проще.

— Вот. А ты сделал не проще. — Гном хлопнул его здоровой рукой по плечу так, что Элдрин присел. — Заходи в кузню, если скучно станет. Покажу, как куют. Гномы, знаешь, тоже из-за грани пришли, как ваши эльфы. Только раньше. И нас никто не резал, потому что мы нужны. Людям всегда нужны те, кто куёт им мечи. А те, кто поёт им песни, — не очень.

Элдрин заходил.

Днём — Сайрус. Зал. Деревянный меч, потом, в восемь лет, — первый настоящий, короткий, тупой и тяжёлый, как лопата.

— Спина ровно.

— Руки мягче. Ты не дрова колешь.

— Куда смотришь? На меня смотри.

— Ещё раз.

— Ещё.

— Ещё.

Сайрус не терпел лени и не терпел жалости к себе. Промах стоил десяти кругов по залу, жалоба — двадцати. Он никогда не бил Элдрина. Ни разу за три года. Но однажды, когда

мальчик, отбивая удар, зажмурился, рыцарь остановил меч в волосе от его виска и сказал тихо, почти нежно:

— Ты сейчас умер. Открой глаза. Мёртвые не жмурятся. Им незачем.

Иногда приходил Микаил — рыцарь той же сотни, коренастый, широкоплечий, с кривым шрамом через щеку и весёлыми глазами. Садился на скамью у стены, грыз яблоко и комментировал.

— Сайрус, ты его загонишь. Он же цыплёнок. Ему кашку кушать надо, а не железо таскать.

— Каша — это ты, Микаил. А он — сталь. Некованая.

— Некованая, — хмыкал Микаил. — Эй, цыплёнок. Хочешь, научу, как противнику песок в глаза кинуть? Сайрус такому не учит, он у нас благородный. Он даже бабе в кабаке кланяется, прежде чем за задницу ущипнуть.

— Я не щиплю баб за задницы.

— Вот я и говорю. Благородный. Поэтому у тебя и нет никого. — Микаил подмигнул Элдрину. — А у меня в Корвеле трое. Одна вдова мельника, одна прачка и одна — тс-с — жена сотника из первой. Если сотник узнает, меня повесят за… ну, ты понял, за что, цыплёнок. Поэтому я учу тебя песку. Песок — он для тех, кто хочет жить долго и весело.

— Научи, — говорил Элдрин.

— Не учи, — говорил Сайрус.

Микаил учил — потом, когда Сайрус не видел. Песок, соль, пинок под колено, удар головой в переносицу, укус за

ухо в свалке — «уши у людей держатся слабо, цыплёнок, как пуговицы у бедняка».

Однажды Сайрус объяснял ему стили, сидя на скамье после тренировки и вытирая лицо тряпкой.

— Есть три пути. Первый — напор. Бьёшь, бьёшь, бьёшь, не даёшь дышать. Для сильных и для дураков. Сильные побеждают быстро. Дураки быстро умирают. Иногда это одни и те же люди в разные дни. Второй — стена. Ждёшь. Принимаешь удары. Ловишь ошибку. Для терпеливых. Таких мало. Третий — вода. То напор, то стена. Течёшь вокруг противника, пока не найдёшь трещину.

— А ты?

— Я — вода. — Сайрус посмотрел на свои руки. — Был. Сейчас больше стена. Возраст.

— Тебе тридцать пять.

— Для рыцаря это возраст. Колени уже знают о погоде раньше неба. — Он усмехнулся. — Ты будешь вода. Тощий, напора у тебя не будет. Стена из тебя никакая — ты слишком думаешь. Думающие не умеют ждать. Они всё время хотят знать, что будет дальше. А вода как раз для тех, кто думает. Вода тоже всё время хочет знать, что там, за камнем.

Элдрин кивнул. Где-то в голове Алексея Дементьева щёлкнуло: *танк, дамагер, гибрид. Классика.* Он почти улыбнулся. Потом посмотрел на Сайруса — на шрамы, на руки, на усталые глаза — и улыбаться расхотелось. Здесь за неудачный выбор пути не начинали заново.

* * *

В восемь лет он попробовал соединить меч и магию.

Вышло случайно. Микаил гонял его по залу — полушутя — и, уходя от удара, Элдрин почувствовал под рёбрами тот самый холодный гравий. И дёрнул за нитку раньше, чем подумал. Совсем чуть-чуть.

Лиловая вспышка — один свет, без огня, яркий, как молния в окне, — ударила Микаилу в глаза. Рыцарь отшатнулся, ругнувшись, и Элдрин достал его тупым клинком по рёбрам. Чисто, как учили.

Микаил стоял, моргая, вытирая слёзы.

— Ах ты ж мелкий паскудник… — сказал он и вдруг расхохотался. — Сайрус! Видел? Цыплёнок колдует! Слушай, цыплёнок, научи меня так же, я тебе свою прачку отдам. Ну, когда подрастёшь.

Сайрус видел. Лицо у него было каменным.

Подошёл, взял Элдрина за запястье и повернул ладонью вверх. Синие прожилки — старые, бледные, от первой щепки и десятка тайных попыток после неё, — поднимались от кончиков пальцев почти до второй фаланги. И одна, свежая, тёмная, как чернила, ползла к ладони.

— Что это?

Элдрин молчал. Микаил перестал смеяться.

— Мертвянка, — твёрдо сказал Сайрус, как говорят о том, что видели своими глазами. — Видел такое. У колдуна, который шёл с нами на дракона. У него было до плеч. Он умер

не от дракона. У него остановилось сердце прямо в седле, на обратном пути. Ехал, ехал и упал. Мы его сняли, а он холодный, как сом из проруби. Синее было уже на груди.

Он отпустил руку.

— Больше так не делай. В зале — никогда. Понял?

— Понял.

— Не понял. — Сайрус смотрел тяжело. — Слушай. Меч у тебя заберут — подберёшь другой. Магия заберёт у тебя — ничего не подберёшь. Каждый раз кусок тебя. Ты должен знать, за что платишь. Каждый раз. Если платишь за вспышку в глаза Микаилу — ты дурак.

— Эй, — сказал Микаил.

— Ты тоже дурак, — сказал Сайрус, не оборачиваясь. — Что засмеялся.

— Да ладно тебе. — Микаил подошёл, присел перед мальчиком и вдруг стал серьёзным, что с ним случалось редко. — Он прав, цыплёнок. Я смеялся, потому что испугался. Так бывает. Мужики смеются, когда страшно, бабы плачут, а умные молчат. Ты в следующий раз молчи. Ладно? И колдуй, только когда тебя убивают. Не раньше.

* * *

О драконе Сайрус рассказал однажды вечером, когда они сидели в пустом зале, и Элдрин не хотел уходить, а рыцарь не гнал.

Сначала долго молчал, вертя в пальцах щепку, отколотую от стойки.

— Нас было двадцать. Граф послал. Дракон спустился с Хребта, жёг деревни на севере. Старый, говорили. Больной. Лёгкая добыча. — Кривая усмешка. — Лёгкая.

Он сломал щепку пополам.

— Нашли его в ущелье. Спал. Огромный. Чешуя серая, как пепел, в проплешинах, одно крыло порвано. Правда старый. Вокруг него лежали коровьи кости, человеческие, конские, всё вперемешку, белые, обглоданные, как будто он их перемывал. И детская люлька. Пустая. Не знаю, зачем он её притащил. Может, понравилась. Мы подобрались на сорок шагов. Колдун начал петь, чтобы он не проснулся. Он проснулся.

— Не помню, как это было. Помню свет. Белый, страшнее огня, такой, что глаза выжигает. Помню, как люди кричали — сперва от удивления, боль пришла потом. Будто не верили. Потом крики стали другими. Потом запах. Знаешь, как пахнет человек, которого запекли в собственных латах? Как свинина на вертеле. Точно так же. Я потом пять лет не мог есть свинину. Сейчас ем. Привык.

Он долго молчал. Элдрин ждал.

— Рядом со мной стоял Эдрик. Мы вместе пришли в замок оруженосцами. В шестнадцать. Он учил меня в кости. Я его — с девками говорить, сам не умея. Он женился за год до того. На дочке шорника. У них сын родился, Эдрик всё хвастался, что малый орёт громче полкового рога. — Сайрус смотрел в пол. — Когда пошёл огонь, я схватил его. За пле-

чи. И поставил перед собой.

Тишина. Где-то капала вода.

— Он сгорел. Я — нет. Вот. — Он показал шрам на шее, белый, широкий, уходящий под воротник. — Это его. Остальное — тоже его. Я жив, потому что он не успел понять, что происходит. Если бы успел — может, сам бы меня поставил. Не знаю. Никогда не узнаю.

— А его жена?

— Я ей сказал, что он закрыл меня собой. — Сайрус поднял глаза. — Она плакала и благодарила меня за то, что я рассказал. Что он умер героем. Каждый год на его день она приносит мне пирог с яблоками. Двенадцать лет. Двенадцать пирогов. Я съедаю их все до крошки, малый. Потому что если я не съем — она спросит почему.

Элдрин смотрел на него и не знал, что сказать.

— Каждый шрам — это история того, что ты сделал, чтобы выжить. Подвигом там редко пахнет. Иногда и гордиться нечем. Ты поймёшь, когда придёт твой час. А он придёт. Здесь всегда приходит.

— Ты жалеешь?

Сайрус подумал.

— Каждый день. И если бы снова — сделал бы то же самое. Вот это и есть самое паршивое. Не то, что сделал. То, что сделал бы снова.

Он встал, отряхнул колени.

— Иди спать. Завтра с утра — двадцать кругов. За то, что

засиделся. И за то, что слушал.

* * *

Нериэль ждала его в кладовой за кузней, где пахло дёгтем, яблоками и мышиным помётом.

Сайрус вошёл, закрыл дверь на засов, задвинул щеколду и только тогда обернулся. Она стояла у бочек, в полосе света из щели над дверью, и пыль плавала вокруг неё, как золотая мошкара.

— Ты задержался, — сказала она.

— Рассказывал ему про дракона.

— Зачем?

— Он спросил. Он всегда спрашивает. — Сайрус подошёл ближе. — Ты знала, что он спросит. Поэтому и выбрала меня. Не потому, что я не болтаю.

— Не поэтому, — согласилась она.

— А почему?

Нериэль смотрела на него снизу вверх. В полутьме кладовой её глаза казались почти чёрными.

— Потому что ты единственный человек в этом замке, который извинился перед рабыней, — сказала она. — Помнишь? Два года назад. В коридоре. Ты толкнул меня плечом, когда нёс раненого, и сказал «прости». Ты даже не посмотрел, кто я. Сказал и пошёл дальше. А я стояла там, наверное, час.

— Я не помню.

— Я знаю. Поэтому и запомнила.

Он протянул руку и коснулся её лица — осторожно, как касаются птицы. Пальцы у него были грубые, в мозолях от рукояти, и пахли железом и маслом. Она повернула голову и прижалась губами к его ладони. Потом взяла его руку обеими руками и повела ниже — по шее, по ошейнику, холодному и тусклому, по ключице, к вороту платья.

— Нериэль. Если кто-нибудь…

— Если кто-нибудь узнает, тебя повесят, а меня отдадут колдуну. Я знаю. Я тридцать лет знаю, что со мной сделают, если я хоть раз захочу чего-то своего. — Она расстегнула первую пуговицу на его куртке, вторую, третью, не отводя глаз. — Тридцать лет я хотела только одного — проснуться утром. Дай мне хотеть чего-то ещё. Хоть полчаса.

Платье упало к её ногам с тихим шорохом, как падает осенний лист. Под ним она была нагой. Её тело было тонким и сильным, как у лучницы, с маленькой высокой грудью и длинными бёдрами, и на животе белели два тонких рубца — следы тех родов, о которых она никогда не говорила, — и прикрывать их она не стала. Сайрус смотрел на неё, и руки у него, двадцать лет державшие меч без дрожи, дрожали.

— Ты смотришь, как будто первый раз, — сказала она тихо.

— Каждый раз как первый.

— Врёшь.

— Нет.

Он опустился на колени — на грязный пол кладовой, в

солому и мышиный помёт, — и прижался лицом к её животу, к рубцам, и долго стоял так, а она гладила его по коротко остриженному затылку и смотрела в стену над его головой. Потом он поднялся и поднял её — она обхватила его ногами, — и прижал спиной к мешкам с овсом, и она укусила его за плечо, чтобы не закричать, когда он вошёл в неё, и не отпускала зубов, пока всё не кончилось. Мешки шуршали. Где-то за стеной звенел молот Торбина, ровно, как сердце, и они двигались в такт этому молоту, не нарочно, просто так вышло, и потом она смеялась, уткнувшись ему в шею, и говорила, что гном, наверное, всё слышал и нарочно стучал.

Потом они сидели на мешках, она в его куртке, накинутой на голые плечи, он в одной рубахе.

— Я хочу дом, — сказала она вдруг. — Не замок. Дом. С дверью, которая закрывается изнутри. Не снаружи. Изнутри.

— Где?

— За Пустошами. Там, где Тихая Чаша. Там не спрашивают, какие у тебя уши. — Она помолчала. — Там можно рожать детей и не отдавать их.

Сайрус молчал долго.

— Мне тридцать пять, — сказал он. — Я служу графу девятнадцать лет. У меня нет ничего, кроме меча и коня, и конь графский.

— Я не просила, чтобы у тебя что-то было. Я сказала, чего хочу. — Она сняла с себя его куртку и протянула ему. — Это разные вещи, Сайрус. Хотеть и просить. Я тридцать лет

просила. Теперь я хочу.

Она оделась, отодвинула засов и выскользнула в коридор, не оглянувшись. Сайрус сидел на мешках ещё долго и смотрел на след её зубов у себя на плече. Синяк проступал медленно, как проступают чернила на мокрой бумаге.

* * *

В ночь праздника урожая Нериэль снова повела Элдрина на верхнюю площадку старой башни.

Идти ему не хотелось. Она взяла его за руку молча и твёрдо, и он понял, что это урок и что урок будет плохим.

Внизу, на лугу перед замком, горели костры. Шесть, если считать большой, у виселицы. Вокруг стояла толпа — тысяча человек, может, больше: весь Корвель вышел за стены. Играли дудки. Кто-то пел похабную песню про мельничиху и монаха, и толпа подхватывала припев. Пахло жареным мясом — даже здесь, наверху, сладко и жирно, — пивом, дымом, конским навозом.

К столбам у костров были привязаны люди.

Элдрин видел, как человек в белом — жрец нового храма — подошёл с факелом к большому костру. Как толпа затихла. Как жрец что-то прокричал — слова унёс ветер — и толпа ответила рёвом. Как факел коснулся хвороста.

Сначала был дым, густой, белый, и люди у столба закашлялись, и толпа засмеялась. Потом занялось пламя.

Крики долетели до башни позже: сначала ветер дул в другую сторону. Потом он переменился. Элдрин слышал их.

Тонкие, высокие, совсем не похожие на крики в кино. В кино кричали красиво. Здесь кричали так, будто из человека выдирали что-то живое, и он не мог перестать, потому что крик был единственным, что у него ещё оставалось. Одна из привязанных — женщина — вывернулась в верёвках, и верёвки прогорели раньше, чем она, и она вывалилась из огня, горящая с головы до ног, и побежала. Побежала в толпу. Толпа расступилась с визгом, как вода перед брошенным камнем, и кто-то из стражников подставил ей древко копья под ноги, и она упала, и её затолкали обратно вилами. Под хохот. Под дудки.

Толпа пела.

— Что это? — прошептал Элдрин. Губы не слушались.

— Праздник урожая. — Голос Нериэль был ровным. — Жрецы говорят: боги дали людям хлеб, боги хотят крови взамен. Без крови не будет урожая. Все верят. Даже те, кого сжигают. Двое из этих сами вызвались. За то, чтобы их семьи год не платили подать.

— Граф позволяет?

— Граф не ходит на праздники. Граф говорит: пусть жгут. Пока они жгут друг друга, они не жгут замок.

Огней становилось больше: зажигались костры в разных концах города, на площадях, на перекрёстках. Мелкие, просто огни. Но кое-где над огнём торчали столбы.

— Ты привыкла? — спросил он.

Нериэль долго смотрела вниз.

— Я привыкла считать. Сегодня шестеро. В прошлом году было девять. Значит, урожай ждут хороший.

Она отвернулась от окна.

— Запомни этот вечер, Элдрин. Каждый раз, когда тебе покажется, что люди такие же, как мы, только с круглыми ушами, — вспомни. Они не злые. Они хуже. Им *нормально*.

— Сайрус тоже человек.

Нериэль замерла. Совсем на миг.

— Сайрус, — сказала она тихо, — сейчас стоит в оцеплении у большого костра. Ему приказали. Он стоит и смотрит. И не может не смотреть, потому что если отвернётся — его высекут. Вот поэтому я и говорю тебе: запомни. Не только тех, кто поёт. Тех, кто стоит в оцеплении, — тоже.

Он лежал потом в каморке и не мог уснуть. В ушах стояли крики. В носу стоял запах — тот самый, сладкий и жирный, который он сначала принял за жареное мясо. *Как свинина на вертеле*, сказал Сайрус. *Точно так же.*

Им нормально, думал он. *Как мне было нормально. Пять лет. Родители в гробу, а я в рейде.*

Он перевернулся лицом к стене.

Здесь хотя бы честно. Здесь сжигают на площади. Там сжигали в одиночестве, тихо, перед монитором, и никто не пел.

Мысль была страшной. Он долго лежал с ней, разглядывая её, как разглядывают незнакомое насекомое. Потом закрыл глаза.

Я не стану таким, сказал он себе. *Ни как они. Ни как он. Ни как я был.*

Он не знал ещё, что стать кем-то другим гораздо труднее, чем не стать.

* * *

К девяти годам он окреп. Тело полукровки росло медленнее человеческого, несмотря на эликсиры, но мышцы на руках и плечах стали твёрдыми, жилистыми. Он мог пробежать двадцать кругов по залу и не задохнуться. Мог продержать меч на вытянутой руке сто ударов сердца. Мог трижды из десяти пробить защиту Микаила — когда тот не слишком старался — и один раз из двадцати достать Сайруса.

Это шанс прожить иначе, говорил он себе, лёжа после тренировки. *Но здесь нельзя ошибаться. Один неверный шаг — и второго раза не будет. Здесь нет сохранений.*

И ещё он думал о Сайрусе и Нериэль.

Он видел, как они смотрят друг на друга. Как Нериэль, стоя у стены зала, следит не только за ним, но и за рыцарем, и как её губы трогает улыбка, когда Сайрус показывает удар. Как Сайрус, проходя мимо, задевает её руку — будто случайно — и весь урок потом движется легче. Как однажды, когда Нериэль накладывала мальчику бальзам на порез, рыцарь сказал: «Не забывай отдыхать. Ты слишком стараешься», — и она ответила: «Я не умею иначе», — и оба на мгновение замолчали, и Элдрин понял, что говорят они не о бальзаме. Как однажды у Сайруса на плече, когда он стягивал рубаху

после тренировки, был синяк — полукруг, похожий на след зубов, — и Микаил присвистнул, и Сайрус сказал «собака», и Микаил сказал «ага, собака», и больше ничего не сказал, но посмотрел на Нериэль, а Нериэль смотрела в стену.

Как давно это началось, он не знал и не спрашивал. Знал одно: если об этом узнают в замке, рыцаря повесят на той перекладине у ворот, а Нериэль…

Что будет с Нериэль, он не додумывал. Он видел колыбели. Он знал, что бывают вещи хуже виселицы.

И он молчал. Молчать он умел лучше всего.

Глава 5. Корвель

Дверь тренировочного зала была заперта изнутри.

Элдрин стоял перед ней в серых предрассветных сумерках, сжимая короткий меч, и смотрел на дубовые доски, окованные железом. Он пришёл на час раньше обычного. Спалось плохо: снилась метель. В последнее время она снилась часто, и он просыпался с ощущением, что в каморке открыта дверь и по полу тянет снегом.

Он поднял руку, чтобы постучать, — и замер.

За дверью тихо, глухо, будто в подушку, засмеялась женщина. Он знал этот смех, хотя слышал его, может быть, раз пять за шесть лет. Потом — низкий, неразборчивый голос Сайруса.

Элдрин опустил руку.

Он отошёл к повороту коридора и сел на холодный камень, положив меч на колени. Смотрел на свои руки, на синие прожилки, которые за последний год доползли до середины ладони, и старался ни о чём не думать. Это у него получалось плохо. В той жизни у него тоже не получалось: он всегда слышал за стенкой соседей, и всегда ему было одиноко от этого так, что хотелось включить музыку погромче. Здесь музыки не было. Был колокол наверху, отбивший смену стражи, и почти сразу за дверью зала — шаги и голоса, уже другие, будничные.

Засов лязгнул. Дверь открылась.

Сайрус вышел первым, на ходу затягивая ремень. Увидел мальчика у поворота — и остановился. За его спиной стояла Нериэль. Волосы у неё были распущены — Элдрин никогда не видел их распущенными: золотые, тяжёлые, до пояса. Платье застёгнуто наспех, через одну пуговицу. Щёки горели. Она поправляла ошейник, и пальцы на металле дрожали.

Несколько мгновений никто не двигался.

Потом Сайрус подошёл и присел перед ним на корточки.

— Давно сидишь?

— Не знаю. Колокол был.

— Что видел?

— Ничего. Дверь была закрыта.

— Что слышал?

Элдрин помолчал.

— Что вы оба живые, — сказал он. — Больше ничего.

Сайрус смотрел на него долго. Потом выдохнул длинно, сквозь зубы, и положил ему на плечо тяжёлую руку.

— Слушай меня, малый. Слушай внимательно, я скажу это один раз. Если об этом узнает кто-нибудь — колдун, Громар, кухарка, Микаил, хоть крыса в подвале, — меня повесят. Это быстро. Минута, может, две, если узел плохой. А её… — Он оглянулся на Нериэль. Та стояла у двери, обхватив себя руками. — Её отдадут вниз. Колдуну. Или в колыбельную. И это будет не быстро. Это будет годами. Понимаешь?

— Понимаю.

— Не понимаешь. Но поймёшь. — Рука на плече сжалась. — Я прошу тебя. Не приказываю — прошу. Я никого в жизни ни о чём не просил, малый. Даже графа. Молчи.

— Буду нем, как рыба. — Элдрин помолчал. — Я и так всегда молчу.

Сайрус вдруг усмехнулся — коротко, устало, почти благодарно.

— Знаю. Поэтому прошу тебя, а не кого другого.

Нериэль подошла — она уже заплела косу, быстро, привычными пальцами — и остановилась рядом. Он ждал, что она что-нибудь скажет, но она лишь положила ладонь ему на макушку — на мгновение — и убрала.

— Тренировки не будет, — сказал Сайрус. — У меня другая мысль. Нериэль нужно в город. На рынок. Пойдёшь с нами?

— В город? — Элдрин моргнул. За шесть лет он ни разу не был за стенами замка. — Мастер не разрешит.

— Мастер сегодня до полудня варит свою синюю дрянь и не вылезет, даже если замок загорится. — Сайрус посмотрел на Нериэль. — Она знает, как выйти, чтобы никто не заметил. Она много чего знает. Больше, чем говорит. Это у вас семейное, я смотрю.

— Зачем на рынок?

Нериэль и рыцарь переглянулись.

— За травами, — сказала Нериэль. — Для девочек в восточном крыле.

Это была правда. Элдрин слышал, что это правда. И слышал, что за ней стоит что-то ещё. Спрашивать он не стал.

* * *

Нериэль собралась быстро. Поверх зелёного платья — длинная чёрная накидка с глубоким капюшоном, скрывающая волосы, уши и ошейник. Сайрус накинул плащ цвета смолы, под которым меч на поясе казался просто складкой ткани. Элдрину нашли простую тёмную тунику, штаны и старый плащ на два размера больше. Нериэль распустила ему волосы и начесала на уши.

— Твои не такие острые, — сказала она, приглядываясь. — Если не будешь вертеть головой, сойдёшь за человеческого мальчишку. Бледного, правда. Скажем, болел.

— Я и болел. Шесть лет. Эликсирами.

Она посмотрела на него странно. Потом чуть улыбнулась.

— Вот так и скажешь, если спросят. Лучшая ложь — та, что правда, только сказанная не тому.

Они вышли через подземный ход. Нериэль вела уверенно, без факела, по узким холодным коридорам, где пахло сыростью и крысами, и ни разу не замешкалась на развилке. Элдрин считал повороты, как она сама учила: налево, налево, прямо, вниз по ступеням, направо у старой бочки. Сайрус шёл последним, и шаги у него были тихие для такого большого человека.

На полпути рыцарь сказал, не оборачиваясь:

— Мне надо было сказать раньше. Тебе, малый. Ещё год назад. Ты ведь замечал.

— Замечал.

— И молчал.

— Да.

— Почему?

Элдрин подумал.

— Потому что вы единственные, кто… — Слово было неудобным, слишком большим для этого коридора. — Кто ничего от меня не хочет. Только чтобы я жил.

Шаги впереди — шаги Нериэль — на мгновение сбились. Потом выровнялись.

Сайрус промолчал. Но через двадцать шагов его ладонь легла мальчику на плечо и лежала там до самого выхода.

* * *

Выход оказался ржавым люком под кучей гнилой соломы

в переулке за кожевенной мастерской. Нериэль толкнула его снизу, на них посыпался мусор, а потом — свет, такой яркий после темноты, что Элдрин зажмурился.

Корвель встретил его запахом — живым, после подвальной сырости. Свежий хлеб и гнилая капуста. Конский навоз и дым. Дублёная кожа — от неё щипало глаза: кожевники вымачивали шкуры в моче, это он знал из книг, но не знал, что это так *пахнет*. Рыба в открытых корзинах, и над корзинами тучами мухи. Пот. Пиво. Где-то жарили лук. Где-то выплеснули ночной горшок прямо из окна, и улица под окном ругнулась хором, в шесть голосов, причём один голос был женский и ругался изобретательнее остальных.

Он стоял и дышал. Нериэль потянула его за руку.

— Не стой. Стоят только чужие.

Улицы были узкие и кривые, мощённые булыжником, в щелях которого росла трава и стояли лужи. Дома лепились друг к другу, вторые этажи нависали над первыми, так что между крышами напротив, казалось, можно было пожать руку соседу. Шли торговки с корзинами, мастеровые, стражник в помятом шлеме, нищий без ног на тележке, двое мальчишек гнали палкой гуся. На Элдрина смотрели без злобы, как смотрят на всякого незнакомого. Он опустил глаза.

Рынок был на площади у старого колодца. Здесь гудело: сотни голосов, скрип телег, ржание, лай, звон монет. Торговали всем: дешёвым сукном и глиняной посудой, пряностями и гвоздями, сушёной рыбой и живыми курами в клетках.

У одного прилавка продавали зубы — человеческие, на нитках, для амулетов от сглаза. У другого — кротовые шкурки. Одноглазая старуха гадала на костях за медную чешуйку.

— Дай руку, сладенький, — сказала она Элдрину, когда они проходили мимо. — Скажу, сколько проживёшь.

— Не надо, — сказал Сайрус.

— Я не тебе, медведь. Тебе и так скажу: недолго. — Старуха засмеялась беззубо. — А малой — малой интересный. У малого на лице две тени. Ой, две. Одна своя, другая — не знаю чья.

Нериэль дёрнула Элдрина за руку, и они нырнули в толпу. Он оглянулся. Старуха смотрела им вслед единственным глазом и больше не смеялась.

— Деньги здесь трёх видов, — говорила Нериэль вполголоса, пока они пробирались между прилавками. Говорила, как говорят, когда хотят заглушить что-то другое. — Медь — чешуя. Видишь, у той торговки? Мелкие, тонкие, как рыбья чешуя. Десять чешуек — хлеб. Серебро — рубец. Видишь насечку посередине? Это рубец, шрам. Его делают, чтобы проверить, что серебро не крашеный свинец. Один рубец — сорок чешуек. Курица. Хорошие сапоги — пять. Золото — гривна. Гривну ты здесь не увидишь. Гривной платят графы. И убийцы.

— Сколько стоит человек?

Нериэль посмотрела на него.

— Смотря какой. Эльфийка в ошейнике на рынке в Аго-

норе — от двадцати гривен. Человек-раб — от трёх рубцов. Ребёнок — от рубца.

В голове Алексея Дементьева сам собой включился калькулятор. Курица — рубец. Ребёнок — рубец. Он перестал считать. Ему стало дурно.

Неподалёку старушка, торговавшая зеленью, отсчитывала сдачу — медленно, по одной чешуйке, шевеля губами. Покупательница ждала, нетерпеливо постукивая ногой. Старушка сбилась и начала заново.

— Видишь, — тихо сказала Нериэль. — Каждая чешуйка на счету.

Деньги любят счёт, вспомнил он голос отца. *Кто не считает — того считают.*

У колодца стоял стол менялы под полосатым навесом. Меняла — толстый, лысый, с крашеной бородой и кольцами на каждом пальце — разменивал купцам гривны на рубцы. Сайрус остановился у стола и выложил гривну — графскую, на мелкие расходы.

— Гривна — двадцать рубцов, — сказал он.

— Двадцать — по счёту, господин рыцарь. А по весу — как весы скажут. — Меняла положил гривну на левую чашку медных весов, а на правую стал сыпать рубцы. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Чашки дрогнули и выровнялись. — Семнадцать. Нынче гривны лёгкие пошли, стёртые. Сам видишь.

Сайрус нахмурился. Он видел. Чашки стояли ровно.

Элдрин смотрел на коромысло. На петли, на которых висели чашки. Левая висела ближе к середине, чем правая. На палец. Может, меньше. Заметить это мог только тот, кто знал, куда смотреть. Он знал. В седьмом классе на физике, единственном уроке, который он не прогуливал, учительница рассказывала про рычаг, про Архимеда и про то, как на рынках обвешивали ещё при фараонах.

Он потянул Сайруса за рукав. Рыцарь наклонился.

— Поменяй чашки местами, — шепнул Элдрин. — Гривну — направо. Рубцы — налево.

Сайрус посмотрел на него. Потом на весы. Потом — уже по-другому — на менялу.

— Переложи, — сказал он.

— Что, господин?

— Гривну — в ту чашку. Рубцы — в эту. Переложи.

Меняла улыбнулся. Улыбка вышла кривая.

— Господин рыцарь, весы проверены гильдией, клеймо вот…

Сайрус положил ладонь на стол — спокойно, без удара. Ладонь была широкая, в старых шрамах, и стол под ней скрипнул.

Меняла переложил.

Чашка с гривной упала вниз и стукнулась о стол. Семнадцать рубцов взлетели вверх, как перья.

Вокруг стало тихо. Купец, стоявший за ними, перестал пересчитывать свой кошель. Торговка зеленью подняла голову.

— Двадцать, — сказал Сайрус. — И один — за то, что я не позову стражу. И ещё один — за то, что не позову гильдию. Гильдия, говорят, за такие весы режет пальцы. По одному на каждый год, что весы стоят на площади.

Меняла отсчитал двадцать два рубца. Руки у него тряслись так, что один упал и укатился под стол, и меняла полез за ним сам, на коленях, не поднимая глаз.

Они отошли. Сайрус сунул рубцы в кошель и долго молчал.

— Кто тебя научил? — спросил он наконец. Тихо.

— Никто. — Элдрин смотрел под ноги. — Левая петля ближе к середине. Что висит ближе — давит слабее. Гривна на короткой руке весит меньше, чем есть. Видно, если смотреть на петли, а не на чашки.

— Нериэль. Ты знала?

— Я знала, что он умеет смотреть, — сказала Нериэль. Голос у неё был ровный, но рука на плече Элдрина сжалась так, что ему стало больно. — И знала, что этого нельзя показывать. Никому. Особенно на рынке.

— Почему? — спросил Элдрин. — Он же вор.

— Потому что вор теперь будет помнить тебя всю жизнь, — сказал Сайрус. — И все, кто стоял рядом. Умный ребёнок на рынке стоит дороже курицы, малой. Гораздо дороже. — Он оглянулся на стол менялы. — Больше так не делай. Скажи мне — я сделаю. Пусть думают, что умный я. Мне можно. Я большой.

Элдрин кивнул.

Под навесом менялы, в тени, у самой стены колодца, стоял человек в светлом дорожном плаще — Элдрин его так и не заметил. Человек перебирал монеты на соседнем столе, пока Сайрус говорил с менялой. Потом перестал перебирать. Пальцы у него были в тонких белых перчатках, слишком нарядных и для погоды, и для рынка.

Человек посмотрел вслед мальчику с пепельными волосами. Долго. Так смотрят на товар, о котором ещё не решили, но уже прикидывают цену.

Потом ушёл в толпу.

Сайрус подошёл к прилавку с хлебом. Продавщица — широкая, в потёртом платке — протянула румяную буханку.

— Десять чешуек, господин. А для тебя, красавчик, могу и девять. Если улыбнёшься.

— Десять, — сказал Сайрус, не улыбнувшись.

— Вот и все вы, рыцари, такие. — Она вздохнула. — Ни улыбки, ни скидки.

Сайрус потянулся к кошелю. И тут из толпы вынырнул мальчишка — тощий, лет одиннадцати, в лохмотьях, — одним отработанным движением полоснул ножиком по ремешку и рванул в сторону.

Сделать он успел полтора шага.

Сайрус даже с места не сдвинулся: выбросил руку и поймал воришку за запястье, как ловят муху. Повернул. Мальчишка взвизгнул, ножик выпал. Рыцарь взял его ладонь в

свою — спокойно, почти бережно — и сжал два пальца, указательный и средний. Резко. Хрустнуло.

Мальчишка закричал — тонко, по-звериному. Кошель упал на мостовую.

Сайрус отпустил его. Воришка, прижимая руку к груди, рухнул на колени, вскочил и пропал в толпе. Люди вокруг даже не обернулись. Продавщица покачала головой: «Говорила я ему, шельмецу», — и снова протянула буханку.

Элдрин смотрел туда, где исчез мальчишка.

— Зачем? — Голос получился тонким.

Сайрус поднял кошель, отсчитал чешую, взял хлеб. Только потом посмотрел на мальчика.

— Теперь он неделю не сможет красть, — сказал он, вытирая ладонь о плащ. — Значит, неделю будет просить. Может, ему подадут. Может, поймёт, что красть легче. Так или иначе, чему-то научится. Поймал бы стражник — отрубили бы руку. По закону. Поймал бы кто из гильдии нищих — его, за то, что работал на чужой площади, нашли бы утром в реке. С камнем в штанах. Я сломал два пальца. Через месяц срастутся.

— Он ребёнок.

— Ты тоже. Но тебя кормят. А его нет. Поэтому он крадёт, а ты спрашиваешь «зачем». — Сайрус отломил горбушку и протянул ему. — Ешь. И не жалей тех, кто тебя обворовывает. Пожалеешь — обворуют до нитки. А потом пожалеют тебя. Так же, как ты сейчас его. Без пользы.

— А если бы это был я? — спросил Элдрин. — Там. В лохмотьях.

Сайрус долго молчал.

— Тогда я сломал бы тебе два пальца, — сказал он наконец. — И купил бы тебе хлеба. Вот этого. — Он посмотрел на буханку в руке. — Чёрт. Подожди здесь.

Он ушёл в толпу туда, куда убежал воришка. Вернулся через четверть часа, без буханки, хмурый.

— Нашёл? — спросила Нериэль.

— Нашёл. Сидит за колодцем, воет. Отдал ему хлеб. — Сайрус отводил глаза. — Он попытался украсть у меня второй кошель. Левой рукой.

Нериэль засмеялась — впервые за этот день, тихо, в капюшон. Элдрин жевал горбушку и вдруг почувствовал её вкус: тёплый, кислый, с хрустящей коркой.

* * *

Нериэль привела их на узкую тихую улицу за рынком, с низкими дверьми в полуподвалы и вывесками, намалёванные прямо на стенах: ступа с пестиком, горшок, пучок трав. Здесь пахло горько, пряно, остро. У двери со ступой она остановилась.

— Подождите здесь.

— Нет, — сказал Сайрус.

— Сайрус…

— Я сказал нет. Я видел, кто здесь торгует. Сюда ходят за тем, о чём в храме не говорят.

Она посмотрела на него долго — и уступила.

Внутри было тесно и темно. С потолка свисали пучки сушёных трав, связки корней, мешочки. На полках — горшки и склянки, мутные, с осадком, с плавающими тёмными комками; в одной Элдрин разглядел крошечную руку с пятью пальцами и тут же отвёл глаза. За прилавком сидела старуха — маленькая, высохшая, с лицом как печёное яблоко и неожиданно ясными, острыми чёрными глазами.

— Золотая, — сказала она, увидев Нериэль, и улыбнулась беззубым ртом. — Давно не было. А это кто? Рыцарь. Хорош. Был бы ты помоложе, я была бы постарше — ох, натворили бы мы с тобой. И… — Чёрные глаза остановились на Элдрине, и улыбка пропала. — И подкидыш колдуна.

Элдрин замер. Нериэль — тоже.

— Откуда ты знаешь?

— Хельга знает всё, что стоит знать в Корвеле, Золотая. И половину того, что не стоит. — Старуха поманила его сухим пальцем. — Подойди, малый. Покажи руку.

Он остался на месте. Сайрус положил ладонь на рукоять.

— Не трону я его, рыцарь. Я старая. Мне трогать уже нечем. Разве что языком. — Хельга снова поманила. — Покажи.

Нериэль едва заметно кивнула. Элдрин подошёл и протянул правую руку ладонью вверх. Старуха взяла её — пальцы сухие и тёплые, как нагретый солнцем пергамент — и долго смотрела на синие прожилки.

— Мертвянка. До середины ладони. В девять лет. — Она подняла глаза. — Ты дорого платишь, малый. За что?

Он промолчал.

— Правильно. Не говори. Никому. — Она отпустила руку. — Знаешь, у меня был муж. Колдовал так же. Синее. Он лечил людей. Брал хворь на себя. Хорошо лечил. К сорока синее дошло до сердца. Он лёг рядом со мной ночью, взял меня за руку и сказал: «Хельга, у тебя руки тёплые». И к утру у меня в руке была ледышка. Тридцать лет прошло. А я всё помню, какая была холодная. — Она отвернулась к Нериэль. — Тебе то же, что всегда?

— Да. Двойную меру.

— Двойную. — Старуха покачала головой, но достала из-под прилавка мешочек из грубой ткани, туго завязанный. — Серая полынь. Свежая, с Пепельных холмов. Сама сушила. Это последняя, Золотая. Больше не будет.

— Почему?

— Потому что о ней спрашивали. — Хельга понизила голос. — Три дня назад. Человек в перчатках. Не наш. Говорил с южным выговором. Эколивским. Мягко так говорил, ласково, как поп на исповеди. Спрашивал, кто покупает у меня серую полынь. Помногу. Для беременных.

Тишина в лавке стала плотной, как войлок.

— Что ты ему сказала? — Голос Нериэль был совершенно спокоен.

— Что покупают повитухи. Все, какие есть. — Старуха

пожала плечами. — Он заплатил мне гривну. Золотую гривну, Золотая. За то, что я ему ничего не сказала. Понимаешь? Он заплатил, чтобы я *запомнила* его. Чтобы передала тебе. Он знает. Или догадывается. И хочет, чтобы ты испугалась и побежала. Испуганные бегают по прямой. — Она подвинула мешочек. — Бери и уходи. И больше сюда не приходи. Я старая, но жить хочу. Мне ещё внучку замуж выдавать, она у меня косоглазая, на неё долго копить.

Нериэль спрятала мешочек под накидку и положила на прилавок два рубца. Хельга отодвинула монеты обратно.

— Оставь. На похороны себе отложи. — И, когда они уже поднимались по ступеням, сказала в спину: — Рыцарь. Береги её. Таких, как она, больше не делают. Форму разбили.

* * *

На улице Сайрус схватил Нериэль за локоть и развернул к себе.

— Что это было?

— Не здесь.

— Нериэль.

— Не здесь, Сайрус. — Она смотрела ему в глаза, и в её взгляде было то, чего Элдрин раньше не видел: страх. Настоящий, животный, тот, что она тридцать семь лет держала под замком. — Пожалуйста. Потом. Я всё тебе скажу.

Он медленно отпустил её локоть.

Они пошли обратно к рынку другой дорогой — кривым переулком, который Нериэль выбрала, чтобы срезать путь.

Он был такой узкий, что стены почти смыкались над головой, и в нём было сумрачно даже в полдень. Под ногами хлюпало. Пахло мочой и кошками.

— Здесь лучше быть настороже, — сказал Сайрус тихо.

Он сказал это на мгновение позже, чем следовало.

Из-за поворота вышли двое. Мужчины в потёртых плащах, капюшоны на глаза. Высокий, тощий. Второй — пониже, плотный, с короткой дубинкой. Шли они неторопливо. Встали поперёк переулка.

— Куда спешим, добрые люди? — спросил высокий. Голос хриплый, ленивый.

— Никуда, — сказала Нериэль. — Мы проходим.

— Проходите, — сказал Сайрус. Рука уже лежала на рукояти под плащом. — Мимо.

— Мимо, — повторил плотный и хмыкнул. — Чужие. Чужим в наших углах не рады. Тут, понимаешь, пошлина. За проход.

— Сколько?

— А вот она. — Плотный кивнул на Нериэль. — Скинь капюшон, красавица. Поглядим, какая у тебя шейка. Говорят, у вас, золотых, шейки особенные. С украшением.

— Мы не ищем беды, — сказал Сайрус. Голос стал ровным и твёрдым, как камень. — Отойдите. Это последний раз, когда я говорю по-хорошему.

— А потом по-плохому? — Высокий улыбнулся гнилыми зубами. — Ты один, рыцарь. А нас…

Договаривать он не стал: выдернул из рукава нож и метнул — в Нериэль.

Сайрус успел.

Он рванул Нериэль за шиворот назад, к себе за спину, одним движением, и нож прошёл там, где мгновение назад было её горло, и звякнул о стену. В ту же секунду меч вылетел из-под плаща, свистнул в тесноте — и высокий, ещё не опустивший руки после броска, получил удар наискось от ключицы к бедру. Крика не было. Высокий посмотрел на себя вниз — удивлённо, как смотрят на пролитое на рубаху вино, — и сел на мостовую, и из-под плаща на булыжник поползло тёмное, и вместе с тёмным что-то сизое, блестящее, похожее на клубок угрей.

Плотный замахнулся дубинкой. Сайрус шагнул *навстречу*, прямо под удар, — принял дубинку на левое плечо, крякнул от боли и вогнал меч ему в живот, снизу вверх, под рёбра. Провернул. Выдернул. Плотный упал лицом вперёд, на руки, и замер так, будто молился.

Всё заняло меньше одного вдоха.

Сайрус стоял, тяжело дыша, держась за плечо. Нериэль прижималась к стене. Высокий ещё сидел, обеими руками пытаясь запихнуть вывалившееся обратно, и тихо, обиженно скулил. Пахло железом — свежим, горячим — и дерьмом из распоротых кишок.

Сайрус обернулся.

— Элдрин?

В переулке их было трое. Мальчик исчез.

* * *

Его схватили сзади в ту секунду, когда Сайрус рванул Нериэль за шиворот. Две руки — сильные, жёсткие, пахнущие луком и дёгтем — зажали ему рот и подхватили под мышки, и раньше, чем он успел дёрнуться, его уже несли — назад, в боковую щель между домами, которую он проглядел, в темноту, пахнущую гнилым деревом.

— Тихо, — прошептал голос над ухом. — Не дёргайся, если жить хочешь.

Он дёрнулся. Его ударили коротко, костяшками в висок, и мир на мгновение побелел.

Потом были ступени вниз. Дверь. Ещё дверь. Его бросили на земляной утоптанный пол, и он лежал, хватая ртом воздух, пахнущий пылью, крысами и прогорклым маслом. Склад. Огромное тёмное помещение, заставленное ящиками и бочками до потолка. Свет — только полосами из щелей между досками.

Над ним стояли люди. Шестеро. Он сосчитал их сразу, как учила Нериэль. Ножи, дубинки, у одного топор. Лица обычные, злые, небритые. Один — лысый, огромный, с бычьими плечами и маленькими, глубоко посаженными глазами.

Лысый наклонился, сдёрнул с мальчика капюшон и отвёл волосы с уха.

— Не та, — сказал он удивлённо и разочарованно. — Вы кого притащили, недоумки? Сказано было — бабу. Золотую.

В ошейнике.

— Она у рыцаря за спиной была, — огрызнулся тот, что принёс Элдрина. — Не достать. Этот ближе стоял. Я думал, она за ним кинется.

— Думал он. — Лысый взял Элдрина за подбородок и повернул лицом к свету. Пальцы толстые, шершавые, с обгрызенными ногтями. — Пацан. Но уши — гляди-ка. Эльфийские. Наполовину.

— Ну и что?

— А то. — Лысый выпрямился. — Перчатки платят за эльфа. Хоть какого. Кровь, кости, глаза — в Эколиве всё в цене. У них там, говорят, из эльфийских глаз капли делают. От старости. Бабу он хотел живой, а этого и по частям продадим. Глаза — отдельно, печень — отдельно, а кости — гному-костерезу на рукояти. Ничего не пропадёт.

— А с бабой что?

— А баба потом. Знаем теперь, откуда она ходит. Через люк у кожевенной. Пару дней посидим — и возьмём.

— А рыцарь?

— Рыцарю — болт в спину. Он не заговорённый.

Они засмеялись. Кто-то сплюнул. Кто-то уже доставал из-за пояса широкий короткий нож, каким режут свиней, и пробовал лезвие ногтем.

— С чего начнём? — спросил он деловито. — С глаз? Пока свежие?

— Дурень. Если с глаз, он орать будет. Сначала горло,

чтоб не орал. Потом глаза. Перчатки сказал — не важно, живой или мёртвый, лишь бы свежий.

Элдрин лежал на полу и слушал, и мир вокруг становился очень чётким, очень ясным, каким бывает только тогда, когда всё уже решено. *По частям.* Это прозвучало как план — обычный, деловой, как квартальный прогноз. Его разделают здесь, на этом полу, а потом человек в перчатках заплатит рубцами за его глаза.

Здесь нет сохранений.

Холодный гравий под рёбрами отозвался сразу — будто ждал.

Он вцепился в эту нить обеими руками, без прежней осторожности, раньше, чем успел подумать, — и рванул на себя изо всех сил. Что-то внутри лопнуло. Больно — будто из руки выдернули жилу целиком, от пальцев до плеча.

Ладони вспыхнули.

Белым огнём. Огонь ударил волной, во все стороны разом, и мир взорвался светом и жаром. Ящики вокруг вспыхнули, как солома. Бочки с маслом лопнули — одна, вторая, третья — и горящее масло хлынуло по полу рекой. Лысый отшатнулся, закрывая лицо, и плащ на нём занялся, и он завертелся на месте, хлопая по себе ладонями, как огромная горящая птица.

Тот, что держал свиной нож, загорелся первым — сразу кожей. Кожа на лице пошла пузырями, пузыри лопались, он кричал, и в открытом рту было видно, как горит язык. Он

катался по земле, и огонь не гас, потому что масло было повсюду, и всё, к чему он прикасался, вспыхивало. Второй горящий бросился к двери, налетел на ящики, опрокинул их на себя, и из-под ящиков ещё долго доносился крик, а потом только треск.

Элдрин стоял на коленях посреди этого и смотрел на свои руки.

Синее перешло с ладоней выше и поднималось по запястьям, тёмное, ветвистое, как трещины на льду, и он видел, как оно ползёт — медленно, на глазах, — и чувствовал, как под ним немеет кожа. Холодно. Холодно, как в метель.

Дверь склада распахнулась.

* * *

В проёме стоял Сайрус. В правой руке — меч. В левой — голова. Голова здоровяка, который сторожил дверь снаружи: Элдрин узнал его потом, по рыжей бороде. Сайрус держал её за волосы, и с шеи на порог капало.

Рыцарь бросил голову и вошёл в огонь.

Слов он не тратил. Первый, кто попался ему — ещё не горевший, с ножом, — получил удар в шею и упал, булькая. Второй, с топором, успел замахнуться — Сайрус ушёл вниз, под замах, перехватил топорище левой рукой, вывернул так, что хрустнуло запястье, и вогнал меч снизу в живот. Рванул вверх, до грудины, как вспарывают мешок. Пнул тело в горящую лужу.

Лысый — огонь на нём погас, но лицо было багровым,

вздувшимся, в белых пузырях — кинулся на Нериэль, вбежавшую следом. Сбил её с ног всей тушей, придавил к земле, схватил за горло. Она хрипела. Он навалился сильнее, наклонил к ней обожжённое лицо, и пузыри на нём лопались, и сукровица капала ей на щёку.

— Вот ты где, золотая, — прохрипел он. — Сама пришла. Перчатки сказал — живую. А про целую ничего не сказал…

Нериэль ударила его кинжалом в ухо. Из-под накидки, снизу, коротко. До рукояти.

Он замер. Глаза полезли из орбит, будто удивились. Изо рта, носа, уха хлынула кровь. Он осел на неё — тяжело, мягко, как мешок с мукой. Она выбралась из-под него, хватая воздух, вся в его крови, и, выбравшись, ударила ещё раз, в шею, и ещё, и ещё, пока Сайрус не перехватил её руку.

— Хватит. Нери. Хватит. Он мёртв.

— Я знаю, — сказала она. — Я знаю, что мёртв.

Но кинжал отдала только через несколько ударов сердца.

Оставался один. Тот, что принёс Элдрина. Целый, без единого ожога, он пятился к дальней стене, выставив нож, и лицо у него было белым.

Сайрус пошёл на него. Медленно.

— Кто заказал?

— Не знаю! Не знаю! — Нож плясал в руке. — Перчатки! Мы его так звали — Перчатки! Не наш! С юга! Платил гривнами!

— Что сказал?

— Бабу из замка! Золотую, в ошейнике! Ту, что травы знает! Живую! — Голос сорвался на визг. — Я не знаю, зачем! Клянусь богами!

— Где его найти?

— Не знаю! Он сам приходит! В «Трезвого тролля», по четвергам, садится у окна, пьёт молоко! Молоко, понимаешь? В кабаке! Я ещё подумал — больной, что ли…

— Верю, — сказал Сайрус.

Он ударил один раз. Человек сполз по стене, держась за горло, и нож выпал из его пальцев, и пальцы ещё долго скребли пол.

Огонь ревел под самой крышей. Балка над входом застонала. Сайрус подхватил Элдрина одной рукой под мышку, как мешок, и рявкнул:

— Вон! Живо!

Они выбежали в переулок за мгновение до того, как крыша склада рухнула внутрь.

* * *

Таверна называлась «Трезвый тролль», и это была самая лживая вывеска, какую Элдрин видел в жизни. Внутри пахло прокисшим пивом, мокрым деревом и вчерашней блевотиной. Было почти пусто: утро. Хозяин, жирный, сонный, даже не взглянул на них, когда они сели в самый дальний угол. Сайрус бросил на стол рубец. Через минуту им принесли три кружки горячего травяного отвара, горького, пахнущего сеном.

— Четверг сегодня? — спросил Сайрус у хозяина.

— Среда, господин. Четверг завтра. Как всегда после среды.

— Кто у вас пьёт молоко у окна?

Хозяин посмотрел на него впервые. Глаза у него оказались цепкими.

— У нас пьют пиво, господин. Молоко — это в коровник.

Сайрус долго смотрел на него. Хозяин выдержал взгляд. Потом ушёл за стойку и начал протирать кружки, отвернувшись.

Элдрин держал кружку обеими руками и не мог согреться. Синее доходило до запястий. Обе руки. Пальцы были глухи к жару, будто деревянные. Он смотрел на них и думал, что, если сейчас уронит кружку, даже не заметит.

— Рассказывай, — сказал Сайрус. Тихо, но так, что ослушаться было нельзя.

Элдрин рассказал. Коротко — про лысого, про «не та», про Перчатки, про Эколив, про «по частям», про капли из эльфийских глаз. Голос был ровным. Он сам удивлялся, какой он ровный.

— Они шли за нами с самого рынка. Может, раньше. Знали, что мы из замка. Им нужна была Нериэль. Не я. Я был… — Он поискал слово. — Утешительный приз.

Нериэль сидела напротив и молчала. Лицо она отмыла в бочке с дождевой водой у входа, но в волосах у виска оставалось бурое. Она смотрела в окно, где над крышами подни-

мался чёрный дым и бежала по улице толпа с вёдрами.

— Нериэль, — сказал Сайрус.

Она молчала.

— Серая полынь. Что это?

Она закрыла глаза.

— Трава, — сказала она наконец, очень тихо. — С Пепельных холмов. Если давать её беременной, ребёнок родится живым. Но пустым. Кровь у него будет пустой. Для ритуала — бесполезной. Граф ничего не получит от такой нити. — Она открыла глаза. — Я даю её девочкам в восточном крыле. Тем, кто просит. Уже семь лет.

Сайрус молчал.

— Дети рождаются слабыми, — продолжала она тем же ровным голосом. — Некоторые не выживают и без ритуала. Я знаю. Я считала. Одиннадцать. Одиннадцать детей умерли, потому что их матери пили мою траву. Одиннадцать маленьких могил на восточном погосте, Сайрус. Я знаю, где каждая. Я хожу к ним по ночам, когда ты думаешь, что я сплю. И сорок три нити графа были пустыми. Сорок три месяца его молодости. Он стареет. Я вижу. Весь замок скоро увидит.

— Одиннадцать, — повторил Сайрус.

— Ты считаешь меня чудовищем.

— Нет. — Он смотрел в кружку. — Я считаю, что ты сделала то, что я сделал с Эдриком. Поставила одних перед другими. Чтобы жили другие. — Он поднял глаза. — Только ты делала это семь лет. Каждый день. А я — одну секунду. И

мне до сих пор каждый год несут пирог. Я не знаю, как ты не сошла с ума, Нери.

— Я сошла, — сказала она просто. — Ты просто не заметил. Мы все тут сошли. Просто по-разному.

— А если он узнает, что это ты?

— Он уже ищет. — Она кивнула на дым за окном. — И не только он. В Эколиве тоже хотят знать, почему граф стареет. Его секрет — самая дорогая вещь в Фобиасе. Тот, кто им завладеет, будет жить вечно. Или продаст вечность тому, кто больше заплатит. — Она замолчала.

Элдрин смотрел на неё. Он думал о колыбелях. О нитях. О том, как Мальдориан однажды ночью сказал, глядя в огонь: «Граф снова недосчитался месяца. Думает, виновата полынь в еде у эльфиек. Или я. Он прав только в последнем».

Только в последнем. Значит, был кто-то ещё. О ком мастер не знал. Или знал — и молчал, потому что ему это было выгодно.

Значит, причин несколько, подумал он. *Нериэль. Мастер. И…*

Что-то внутри — та холодная догадка, которую он прогнал в год, глядя в медную реторту, — шевельнулась снова. *Это тело кому-то принадлежало. До меня.*

Он снова её прогнал. На этот раз было труднее, как труднее закрыть дверь, когда с той стороны кто-то налегает плечом.

— Мешочек, — сказал Сайрус. — Где?

Нериэль сунула руку под накидку. Пошарила. Ещё раз. Лицо её стало серым.

— Выпал, когда этот на меня навалился. Он там, в складе.

Все трое посмотрели в окно. Над крышами поднимался столб дыма — уже не чёрного, а серого, пепельного.

— Значит, это была последняя, — сказала Нериэль. — Хельга больше не продаст. Через пять месяцев — Кровавая луна. И девочки в восточном крыле…

— Не сегодня, — сказал Сайрус и накрыл её руку своей. — Не сегодня, Нери. Сегодня — дойти до замка живыми.

Она посмотрела на его руку. Потом на него. И кивнула.

Они ушли тем же путём — переулками, к люку под гнилой соломой. Улицы были полны людей с вёдрами; пожар в тесном квартале грозил перекинуться на соседние дома, и никто не смотрел на троих в плащах. В подземном ходе было темно и холодно. Элдрин шёл, держась за край плаща Нериэль, потому что не чувствовал собственных пальцев, и считал повороты.

На последней лестнице, у двери в нижний ярус, Сайрус остановил его.

— Покажи руки.

Элдрин показал. Рыцарь долго смотрел на синее, дошедшее до запястий.

— Ты спас себе жизнь, — сказал он. — Это стоило того. В этот раз стоило. Но в следующий раз, малый, считай. Каждый раз считай, сколько у тебя осталось. Синее не отступит. Оно

только ждёт.

— Я знаю.

— Знаю, что знаешь. — Сайрус вдруг притянул его к себе — одной рукой, неловко, за плечи — и на мгновение прижал к груди. От него пахло дымом, кровью и потом. — Хороший ты парень. Не дай им это у тебя забрать. Ни им, ни колдуну, ни себе.

Он отпустил его и открыл дверь.

* * *

Первый выход в город Элдрин запомнил навсегда. Пожар, головы, мальчишка со сломанными пальцами, который пытался украсть второй кошель левой рукой, — всё это потом поблёкло.

Он запомнил, как Нериэль сказала: «Одиннадцать. Я считала». Ровным голосом. Как будто вести счёт мёртвым детям, которых ты убила, чтобы не дать убить других, — самое обычное дело на свете.

Здесь все ведут счёт, думал он, засыпая. *Граф. Мастер. Нериэль. Старуха с зеленью. Я.*

Разница только в том, что именно.

Глава 3

Маль

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.